

М. ЯХОНТОВА

# КОРАБЛИ ИДУТ НА БАСТИОНЫ



Марианна Яхонтова

**Корабли идут на бастионы**

«РИПОЛ Классик»

2008

## **Яхонтова М. С.**

Корабли идут на бастионы / М. С. Яхонтова — «РИПОЛ  
Классик», 2008

В центре завораживающего исторического романа Марианны Яхонтовой – личность и судьба величайшего русского флотоводца Федора Ушакова. Путь Ушакова – это путь стрелы, которая несется прямо к цели, невзирая на коварство врагов и ревность завистливых царедворцев. Это жизнь, прекрасная и яркая, полная подвигов и приключений. Увлекательный, динамичный сюжет, до предела закрученная пружина интриги, впечатляющие описания крупномасштабных морских сражений, яркие характеры и доскональное знание исторических реалий – все это сделало предлагаемый вашему вниманию роман излюбленным чтением многих поколений истинных почитателей исторической беллетристики.

© Яхонтова М. С., 2008

© РИПОЛ Классик, 2008

# Содержание

Часть первая	5
1	5
2	9
3	15
4	19
5	25
6	33
7	38
8	43
9	48
10	51
11	58
12	64
13	69
14	75
Конец ознакомительного фрагмента.	76

# Марианна Яхонтова

## Корабли идут на бастионы

### Часть первая

#### 1

Адмирал Ушаков выехал из Севастополя в конце сентября, когда в Крыму вторично начинала зеленеть высохшая за лето трава. А Петербург встретил его весь окутанный снегом. Ослепительно белый на солнце и синий в тени, город казался таким ярким, что с непривычки ломило глаза. Вместе с тем Ушаков сразу почувствовал, как легка его шуба, которую пришлось достать из багажа еще под Москвой.

Знакомых в Петербурге у адмирала было мало, да и с теми он переписывался очень редко. Сначала ему даже пришло в голову остановиться на постоялом дворе. Но его близкий друг и приятель Непенин, служивший в Севастопольской таможне, дал ему письмо к своему дальнему родственнику Аргамакову, известному литератору и масону. Аргамаков жил на окраине Петербурга, и обширный дом его был окружен множеством самых разнообразных пристроек.

Как только возок адмирала остановился у ворот, из калитки выскочили два парня, стриженные в кружок и одетые в зеленые казакины из домашнего сукна.

Один из них тотчас побежал докладывать хозяину, а другой бросился открывать ворота.

Пока возок, скрипя по снегу, подъезжал к высокому крыльцу с деревянными колоннами, по лестнице уже сбегал сам хозяин. Он, видимо, так торопился, что выскочил на улицу в стеганом китайчатом халате и лиловых бархатных сапогах. Голую, без единого волоса голову его не прикрывал даже парик.

– Прошу простить меня, государь мой, что явился к вам незванным, – сказал Ушаков, снимая шляпу – Я дерзнул на это только потому, что свойственник ваш Петр Андреевич Непенин меня обнадежил...

Но Аргамаков прервал чинную речь адмирала тем, что крепко обнял его за плечи.

– Я слишком много слышан о вас, Федор Федорович, чтобы не испытывать живейшей радости от знакомства с вами. Я и дом мой в вашем полном распоряжении.

Тон и манеры его были свободны и безыскусственны. Красное круглое лицо так весело и дружелюбно улыбалось, что адмиралу начало казаться, будто он уже когда-то видел этого человека и вынес из прежней встречи самое приятное впечатление.

Они миновали переднюю, где густо пахло овчиной, портянками и табаком. Те же, стриженные в кружок, парни сняли с Ушакова шубу, и он очутился на пороге большого низкого зала с навощенным паркетом.

Зал больше походил на кунсткамеру, чем на жилое помещение. Прежде всего, обращала на себя внимание коллекция часов, которые висели на стенах, стояли на столах, на клавиатуре и даже на подоконниках. В ту минуту, когда вошел адмирал, они как раз начали бить. В зале закуковала кукушка, прозвенели колокольчики, ударил мечом бронзовый всадник и что-то хрипло зашипело в углу.

Семья Аргамакова выстроилась, словно на параде. На правом фланге – хозяйка, на полуседых кудрях которой возвышался тюлевый чепец, по форме похожий на шлем римского легионера. На левом – три дочери-погодки приседали, шуриша розовыми атласными юбками.

Хозяйка протянула влажную, видимо, только вымытую руку для поцелуя, прикоснулась губами ко лбу адмирала, потом снова подала руку. Таков был этикет, того требовала наука «учтивства».

Сам хозяин, от которого так и веяло веселостью и добродушием, представлял адмиралу дочерей:

– Марфа, поклонница всех девяти муз, одной из коих служит с некоторым успехом. Пашета, охранительница домашнего очага, коей все в доме повинуются. И баловница Лизон, которая ничего не умеет и ниспослана нам за грехи наши.

– Папенька!

– Что папенька? Лучше я заранее скажу, а то Федор Федорович сам увидит.

Аргамаков засмеялся и чмокнул Лизон в пунцовую щеку.

Пока Ушаков переодевался в отведенной ему комнате, Аргамаков сидел против него и расспрашивал о Непенине:

– Петр Андреевич все еще служит в таможене? Когда же он бросит ее и всецело отдастся наукам? Я лет десять зову его в столицу. Что делать наимоспособнейшему сочинителю в столь отдаленных местах?

– Да, правда ваша. У нас там и книг-то почти никто не читает. И новости приходят, когда уже обростут седой бородой. Трудно там жить ученому человеку, если он не моряк. Очень трудно, – сказал адмирал.

Мысль о том, что его единственный друг, ближе которого у него никого не было, когда-нибудь покинет Севастополь, тем не менее, показалась ему нестерпимой. С кем же проводил бы он вечера в живейших беседах, к кому мог бы обратиться за советом в щекотливых житейских делах или у кого мог бы получить справку о любом научном вопросе, если не будет Непенина?

– Все же не говорите мне о разлуке с Петром Андреичем! – вдруг добавил Ушаков, не попадая рукой в пройму камзола. – Перед многими опасностями я был спокоен, но этого часа, скажу по правде, страшусь.

Аргамаков внимательно посмотрел на адмирала.

– Петр Андреевич не сдастся на мои уговоры, – поспешно произнес он, высоко поднимая одну бровь. – Я понимаю, что везде можно изучать нравы и писать книги, даже в условиях, мало подходящих. Что же касается дружбы, так она священна во всех частях света.

– Ну, а как его книга? Печатается?

Круглое веселое лицо Аргамакова сразу стало серьезным и задумчивым. Рукопись Непенина «Размышления о человеке и человечестве» находилась у него уже давно.

– Вот уже год и я и Новиков стараемся, чтоб она увидела свет, но пока наши старания не привели к успеху.

– Почему же? – недоуменно спросил адмирал, высоко ценивший сочинение своего друга.

Аргамаков ответил не сразу. Он как будто размышлял, но глаза его почему-то сначала раз, потом другой остановились на денщике, прибиравшем вещи адмирала.

– Ты мне не нужен больше, Степан, – сказал Ушаков.

– Ступай, братец, пообедай и отдохни с дороги, – подхватил и Аргамаков, с улыбкой кивая денщику.

Денщик вышел, но Аргамаков постукивал пальцами одной руки по кончикам пальцев другой и говорить не торопился.

– Дело в том, – наконец начал он, – что мы не имеем разрешения на печатание книги Петра Андреевича.

– Вам отказали?

– Нет. И это, пожалуй, хуже, чем если бы прямо отказали.

Ушаков пытался понять Аргамакова и не мог. В литературных делах, очевидно, существовала какая-то особая сложность, совершенно ему неизвестная.

– Простите, не могу уразуметь, – сказал он, впервые ощущая что-то неверное и темное, о чем ему никогда не приходилось думать.

Аргамаков снова внимательно поглядел на него.

– Вы слышали о господине Радищеве? – спросил он.

– Да, слышал, но при чем тут господин Радищев?

– Его дело внушило там многим великую осторожность и опасения.

При слове «там» Аргамаков указал на потолок.

Адмирал невольно поглядел туда же, словно ожидая увидеть что-то среди гипсовых аму-  
ров.

– Но ведь Радищев, кажется, имел крайние мнения. А в книге Петра Андреевича нет ничего ни противу государыни, ни противу монаршей власти.

– Да, в прямом смысле нет, это правда, – сказал все с той же задумчивостью Аргамаков.

И адмирал, испытывая смутную тревогу, решился задать ему прямой вопрос.

– Диомид Михайлович, государь мой, я невежда в этих вопросах! Объясните! Ведь мы там, в Севастополе, ничего не знаем, какой дух витает в столице! В бытность мою здесь я читывал журналы «Трутенъ» и «Живописец». Некоторые сочинители весьма язвительно писали в них о помещиках, кои притесняют крестьян своих, о взяточниках, о высоких людях, имеющих низкие души. Насколько я знаю, это не воспрещалось начальствующими.

– Вы читали те журналы очень давно, дорогой Федор Федорович. Журналов этих нет уже многие годы, и писать так, как писали тогда сочинители, нам больше не придется. Я тоже вынужден был прекратить тот небольшой журнал, который издавал, хотя в нем никто не писал ничего язвительного. Пришли новые времена. Во Франции народ сверг своего короля. В этом причина и дела Радищева и того, что книга Петра Андреевича не получает разрешения. Многие самые высокие персоны объаты превеликим страхом при виде пожара во Франции. Они опасаются, как бы искры сего пожара не перебросились в Россию. А отсюда всякие призраки и тревоги. Самые невинные вещи возбужденному воображению предстают в устрашающем виде. Я и несколько друзей моих недавно завели на Кирочной аптеку, где бы бедные люди могли получать лекарства без платы. Не правда ли, ведь нет плохого в том, что мы хотим помочь страждущим людям?

– Нет, конечно.

– А я вот не знаю, не предстанет ли аптека в чьем-нибудь уме угрожающей спокойствию государства. Над нами витает дух страха, а у сего духа, как известно, нет разума.

Аргамаков умолк, вздохнул глубоко. Потом подтянул полы халата и встал.

– Вы отдохните немного, Федор Федорович. Когда подадут на стол, я приду за вами.

На лице его уже опять блуждала улыбка, и веселые морщины собрались в уголках глаз.

– Как-нибудь перетерпим. Для того живем, – сказал он, оттого ли что был большим оптимистом или, наоборот, оттого что ждал от жизни мало хорошего.

Адмирал прилег на канапе, но спать не мог.

Люди, к которым принадлежал Аргамаков, видимо, жили здесь весьма беспокойной жизнью, среди какой-то невидимой борьбы. Но не оказывал ли и на них влияния тот дух преувеличения, который так свойствен всем сочинителям по живости их воображения? Может быть, Аргамаков преувеличивал те препятствия, которые вставали перед ним и Непениным? Может быть, и с книгой любезного друга все не так уж безнадежно? Надо повидаться с Новиковым в Москве на обратном пути. Петр Андреевич переписывался с ним, но ведь в письмах всего не скажешь, письма подвергаются просмотру на почте или в Тайной экспедиции.

«Ну, уж мне-то не стоит пока что поддаваться призракам, – тут же оборвал ход своих мыслей адмирал. – Я сам посмотрю, каков здесь дух. Государыня вызвала меня в Петербург. Следовательно, я увижу и ее и людей, которые государыню окружают. Постараюсь все, что можно, приметить и понять. А пока воздержусь от суждений».

И он вернулся к тем мыслям, которые занимали его дорогой: к прожитому им лучшему времени жизни.

Миновал год после окончания войны с турками, отодвинулись в прошлое люди и события. Для многих они стали уже историей, а для него они жили зримо и осязаемо. Он и сейчас еще видел белую кайму пены у скал острова Фидониси, вновь ощущал жаркую черную ночь перед сражением. Тогда флотом командовал граф Войнович. Человек этот так мало доверял самому себе, что писал бригадиру Ушакову, командовавшему авангардом, слезные письма: «Если подойдет к тебе капитан-паша, сожги, батюшка, проклятого. Обкуражь меня, душенька». И командование в бою само собой перешло к Ушакову. Турки были разбиты и бежали во главе со знаменитым адмиралом Гасаном, прозванным «крокодилем морских сражений».

После этой победы князь Потемкин устранил от командования Войновича и заменил его Ушаковым. Три блестящие победы – у Керченского пролива, у Гаджибея и у мыса Калиакрии – ознаменовали этот знаменательный период жизни Ушакова. Потемкин оказывал ему неизменную поддержку решительно устраняя с его пути все препятствия. Он даже сумел «сбыть» стоявшего во главе Черноморского адмиралтейского, правления адмирала Мордвинова, которому покровительствовала сама императрица.

Осенью 1891 года Потемкин умер в степи, на пути из Ясс в Николаев. Что будет дальше и кто теперь станет во главе флота, Ушаков не знал. Со смертью князя рушилась его единственная служебная опора, а покровителей он издавна не умел приобретать. Не он искал расположения Потемкина, а сам Потемкин искал способных моряков для созданного им Черноморского флота.

Правда, теперь у адмирала были успехи и победы, была слава. Но, обладая большой трезвостью ума, он не заблуждался насчет могущества талантов. При благоприятном случае они стоили много, при неблагоприятном – ничего. Весь вопрос заключался теперь в том, явится ли благоприятный случай? Не потому ли императрица вызвала его в Петербург, что надо решать дальнейшие судьбы флота?

И среди этих размышлений Ушаков не заметил, что по всему дому снова уже пошел причудливый трезвон часов и что хозяин, переодетый в кафтан и туфли с пряжками, стоит в дверях в нерешительности: будить или не будить гостя к подоспевшему обеду?

## 2

Аргамаков не считал себя вправе наводить уныние на гостя, а потому ни о каких тревожных событиях больше не говорил. Да и по прирожденной веселости характера он был не способен подолгу предаваться беспокойству.

– Можно и должно предвидеть худое, но переживать его заранее неразумно, – обычно говорил он.

Во время обеда Аргамаков шутил и смеялся, уверяя адмирала, что Севастополь находится на краю света, что там люди питаются только акридами и диким медом и лишены всех «приятностей, кои украшают бытие». Поэтому он усердно угощал гостя самыми разнообразными кушаньями и особенно ухой из стерлядей. Несмотря на разнообразие кулинарных чудес, Ушаков скоро заметил, что самый выбор их не случаен. Кушанья были исключительно русские.

– Считаю долгом своим бороться против чрезмерного увлечения всем иностранным, – заметил между прочим Аргамаков. – В нашем обществе и привычки, и моды, и обычаи – все французское. Скоро некоторые россияне, пожалуй, забудут свой родной язык.

Тут адмирал обратил внимание, что люди, прислуживавшие за столом, были одеты в русские кафтаны и обуты в лапти, сплетенные из конского волоса.

«Бог знает, может быть, так и нужно, – с сомнением подумал Ушаков, – хотя борьба с чем бы то ни было при помощи лаптей всегда казалась мне безнадежной».

После обеда Аргамаков показывал адмиралу изобретенную им самим электрическую машину, которая, по его словам, излечивала самые разнообразные болезни. Атак как в увлечении своем Аргамаков рассказывал только о случаях исцеления, а неизлечившимися пренебрегал, то выходило, что машина оказывала страждущим человекам ни с чем не сравнимое благодеяние.

Вечером съехались все родные и знакомые семьи Аргамаковых. Дом наполнился хлопотом дверей, скрипом половиц, оживленным говором и восклицаниями.

Ушакова все хотели видеть, все им интересовались и спешили позвать ему руку.

Даже дочка хозяина, та, что «поклонялась всем девяти музам», когда был объявлен небольшой домашний концерт, пела только для адмирала. Гости расступились, оставив между ним и певицей пустое пространство. Это так смутило Ушакова, что он едва мог пробормотать маловразумительную похвалу ее искусству.

Адмирал боялся, что его будут уговаривать принять участие в танцах. Поэтому, как только заиграла музыка, он благоразумно скрылся в гостиную, где собрались старики и любители, виста.

Однако баловница Лизон, вероятно, была ниспослана за грехи не только своим родителям. Она прибежала в гостиную, стуча каблучками, и прямо с разбегу сделала низкий реверанс адмиралу. Веер вырвался из ее руки и, как птица с распластанными крыльями, упал на пол.

– Ах, я всегда все роняю, все гублю! – воскликнула Лизон, очень мягко и приятно картая.

Однако все очарование этой милой случайности тотчас было испорчено Ушаковым. Торопясь поднять веер, он быстро нагнулся, а потом столь же быстро поднял голову. Напудренный его висок ударил в подбородок тоже наклонившейся Лизон. Ему даже показалось, что при этом у нее цокнули зубы.

Сконфуженный своей неловкостью, адмирал извинялся с таким угрюмым выражением на покрасневшем лице, что смутил бы кого угодно, кроме беспечной Лизон. Как часто бывает в таких случаях, Ушакову очень захотелось сложить ответственность за собственную оплошность на кого-нибудь другого. И он тотчас подумал, что вся сцена с веером разыграна намеренно, с каким-то лукавым умыслом.

Но Лизон никогда не обдумывала заранее того, что она сделает. Она с детства привыкла к тому, что все ее проступки и сама она не вызывали ничего, кроме восхищения и поощрительных улыбок.

– Маменька говорит, что без вас нельзя начинать польский! – воскликнула она, глядя ясными, блестящими глазами в лицо адмирала.

Ушаков подал ей руку и шагом натренированного солдата вышел в зал, где в ожидании выстроились пары.

«Неужели они не понимают, что я не охотник до танцев? – мысленно роптал адмирал. – Чего доброго, отдавлю ей сейчас ногу».

Розовая ладонь девушки, лежавшая на обшлага его мундира, то тянула его вперед, то тащила назад. Ему казалось, что, какие бы усилия он ни делал, Лизон все равно собьет его с ритма. Ему было видно ее нарумяненную, согласно обычаю, щеку, уголок пухлого рта. Губы ее иногда чуть шевелились, когда она вздыхала глубже. Но Ушаков старался смотреть на навощенный пол, чтобы как-нибудь не наступить на маленькую атласную туфлю.

– Говорят, на войне очень страшно. Правда? – спросила Лизон, чтобы прервать прочно установившееся молчание.

– Бывает, сударыня, – вежливо отвечал Ушаков.

– А правда ли, что когда в море дерутся, то держат оружие в зубах?

– Вы, вероятно, имеете в виду турок, сударыня?

Ушаков был уверен, что давно не говорил столько всякого вздора, как во время этого польского. Впрочем, с женщинами и, особенно, с девушками ни о чем ином говорить было нельзя.

С некоторым запасом терпения все это еще можно было снести, но прекрасные представительницы рода человеческого отличались большим коварством и иметь с ними дело было далеко небезопасно. С девушками потому, что все их помышления, надежды и смысл жизни сводились к одной-единственной цели – поскорее выйти замуж, выйти во что бы то ни стало, хотя бы за верстовой столб. А женщины имели какую-то неумную страсть женить людей, даже тех, которые боялись семейных уз больше огня. Несмотря на отсутствие красоты и солидный возраст, адмирал чувствовал себя незащищенным и ускользал, как мнилось ему, от расставленных сетей только благодаря решительности характера.

Наконец танец кончился, а вместе с ним закончились и мучения Ушакова. Он был так доволен, что очень быстро и ловко подвел свою даму к ее матери и даже высказал что-то лестное насчет ее остроумия. Потом он тихонько прошел снова в гостиную и, хотя очень не любил карты, сел играть в вист. За карточным столом никакие нимфы и дриады не решились бы его тревожить.

Однако Ушаков быстро заметил, что, кроме него и трех его партнеров, никто в карты не играл. Другие гости сидели группами, курили, о чем-то спорили, и порой весьма ожесточенно. Они непринужденно переходили от одной группы к другой, и по всему было видно, что люди знают здесь друг друга очень близко и имеют какие-то общие интересы.

Многие из них подходили к Ушакову: говорили о том, как радуется их слава его побед, как им приятно его видеть. Но адмирал, с особой чуткостью самолюбивого человека, примечал, что им больше не о чем с ним говорить и что интересы, которые связывают их, они считают ему чуждыми.

Партнерами его были два глубоких старика и пожилая полная женщина в необъятном платье, с высокой прической из серых чужих волос, украшенной выцветшими гвоздиками. Пудра сыпалась с ее головы, точно пух с перезревшего одуванчика.

Стоило ехать в Петербург, чтоб играть в вист! Нет такого медвежьего угла, где бы не убивали времени подобным образом. Много же он поймет и узнает здесь, в столице, сидя со стариками.

– Я, государь мой, вышел в отставку секунд-майором, – прошамкал один из его партнеров, очевидно, считавший нужным что-то сказать.

А другой так и не произнес ни слова.

И Ушаков стал уже думать, как бы повежливее выйти из игры, когда. Аргамаков пришел ему на помощь.

Он посадил за карты вместо Ушакова свою жену, а сам повел адмирала в столовую.

– Я сейчас познакомлю вас с замечательными людьми. Они – москвичи и здесь временно. Это наш «бессребреник» Гамалея и Николай Иванович Новиков, известный издатель, сочинитель и друг человечества. Вы, конечно, знаете, что те журналы, которые вам когда-то нравились, издавал именно он.

– Как это удачно вышло. Я хотел непременно повидать его.

В столовой дочь хозяина Пашета угощала двух опоздавших гостей. Они тотчас встали, как только Ушаков и Аргамаков показались на пороге.

С первого взгляда больше привлекал внимание необычайной своей худобой и почти нищенской бедностью одежды бывший начальник канцелярии Военной коллегии Семен Иванович Гамалея. Кафтан его, пепельно-коричневого цвета, висел на плечах, как мешок, и казалось, что в нем могут поместиться не один, а два таких тощих человека. На грубых башмаках не было пряжек, а шерстяные чулки просвечивали, словно их исклевали куры.

На его бескровном лице аскета горели черные пронизательные глаза, исполненные каким-то неугасающим вдохновением. Но Ушаков сразу уловил в их ярком блеске странное отсутствующее выражение. Никак нельзя было определить, видит своего собеседника этот человек или нет, слушает или не слушает, когда с ним говорят. И с непривычки это сначала сильно раздражало адмирала.

Аргамаков, пока вел Ушакова в столовую, успел рассказать, что Гамалея живет почти нищим, раздавая все неимущим. Когда однажды собственный слуга обокрал его и был пойман, Гамалея отдал ему все украденные вещи и деньги и отпустил его на волю, увидев в этом случае предопределение божье. В то же время Гамалея обладал большой ученостью и переводил для своих братьев-масонов творения известного мистика Якова Беме. Среди масонов Гамалея пользовался большой популярностью, вероятно, потому, что пытался жить так, как повелевало исповедуемое им учение.

Ушакову, который не чувствовал никакого влечения к мистическим тайным и масонским обществам, больше понравился Новиков. Это был человек очень скромной внешности, с большим лбом и зачесанными назад темными волосами без малейшего признака пудры. Несмотря на то, что он тоже отдавал дань времени, занимаясь изучением и толкованием масонских символов и «непонятных» глубин человеческого духа, в углах его довольно полных губ таилась трезвая саркастическая усмешка. По ней сразу можно было догадаться, что этот человек склонен к шутке и не чужд заботам практической жизни.

Знакомство Ушакова с Гамалеей ограничилось тем, что тот проговорил задумчиво и явно не интересуясь собственными словами:

– Очень рад познакомиться. Я некоторое время служил во флоте. Только давно.

Сам адмирал тоже его не интересовал, и он, не дожидаясь ответа, несколько раз оглянулся. Так как люди, стоявшие перед ним, не уходили, он сам как бы ушел от них, крепко сжав на груди переплетенные пальцы обеих рук и устремив свой горячий взгляд на половицу под ногами. Он делал это не из пренебрежения к внешним предметам, а потому что следовал какой-то своей внутренней логике, которая одна управляла им и другим была непонятна.

– Скушайте хотя бы рыбы, Семен Иванович! – сказала, видимо, благоговевшая перед ним Пашета. – Вы ведь почти ни к чему не прикоснулись.

– Благодарю. Не надо, – отвечал Гамалея рассеянно и ушел, пошаркивая разбитыми башмаками, которые были ему велики.

– Федор Федорович – близкий друг Петра Андреевича, – сказал Новикову Аргамаков. И Ушаков понял, что короткие отношения к Непенину здесь как бы являются рекомендацией.

– Имел удовольствие знать друга вашего, – произнес Новиков. – И даже не раз печатал его сочинения.

Ушаков не помнил, как это случилось, но Аргамаков исчез, а он сам и Новиков очутились в углу столовой и, удобно усевшись в кресла, говорили о Непенине, его книге, о впечатлении Новикова от северной столицы.

Ушакову было приятно глядеть в умные, чуть насмешливые глаза собеседника, слушать его неторопливую ясную речь.

– Поверьте моему опыту, а опыт мой достаточно велик, книга Петра Андреевича разрешения не получит. Диомид Михайлович еще надеется. Я же никаких надежд не имею. И не оттого, конечно, что не желал бы увидеть книгу напечатанной.

– Предвидеть худшее всегда разумно, – сказал Ушаков. Хотя он еще собирался исследовать дух, витавший над Петербургом, он уже почувствовал, что это был прежде всего дух неуверенности и беспокойства. Известный издатель, по-видимому, не без основания терял надежды. Адмирал ясно представлял себе своего друга с его очками, спутанным париком, с загнутой кверху косицей, с его ворчливостью и застенчивой гордостью. Не трудно было предвидеть то, что почувствует ахтиарский чудак, когда узнает о неудаче с книгой.

Ушаков долго молчал. Молчал и его собеседник, положив голову на руки, упирившиеся локтями в колени. Это была, очевидно, его любимая поза.

От манжет Новикова чуть пахло утюгом, который, видимо, припалил их немного. Тяжеловатые, отечные веки издателя теперь более чем наполовину прикрыли его глаза. Видимо, ему так лучше думалось. Не меняя положения, он вдруг спросил:

– Вы проехали не одну тысячу верст. Что вы видели дорогой?

– А о чем угодно вам знать, Николай Иванович?

– Я хотел бы узнать об урожае.

Ушаков менее всего ожидал такого вопроса. Он привык думать, что сочинители, постоянно вперяя ум свой в небесные выси, пренебрегают той твердостью, на которой стоят их ноги.

– Урожай очень плох. А местами хлеб выжжен начисто, – ответил он.

– Боюсь, что опять ожидает нас превеликий голод. Из многих мест уже поступают тревожные вести.

– Государыня знает об этом?

– Мне ничего не известно о сем предмете, – отвечал Новиков, явно считавший это обстоятельство маловажным. «Знает, не знает – какой в этом смысл?» – как будто говорил его спрятанный под веками взгляд.

– В вашем имении и окрест его тоже неурожай?

– Да, как и всюду.

– Вы думаете что-нибудь предпринять?

– Думаю, государь мой Федор Федорович, думаю, хотя много действий наших на благо ближних, действий, успешных и нужных для просвещения, приостановлено. А мы все не можем успокоиться. Ведь это дело какое? Нужен хлеб для прокормления людей голодных и нужны семена для посева весной. Я приехал сюда, дабы подвигнуть здешних друзей наших на помощь крестьянам и казенным и помещичьим.

– Неурожаи в отечестве нашем, к великому прискорбию, весьма часты.

– Да, да. Всего пять лет прошло с того жестокого неурожая, который еще всем памятен, а этот год почти столь же печален. Мы ищем средств предотвращать такие бедствия.

– И вы нашли их? – спросил живо заинтересованный Ушаков.

– Кое-что нашли, государь мой, кое-что. Хотя это ничтожные крупинки среди необъятных просторов нашей родины.

– Расскажите. Может быть, опыт ваш будет мне полезен.

– Весьма возможно, весьма возможно.

И Новиков, близко глядя в лицо Ушакова своими темными зрачками, рассказал о тех мерах, какие он смог принять для помощи голодающим пять лет назад.

– Нам удалось оказать помощь сотне деревень. Деньги были собраны между нами. Весьма большую сумму, в пятьдесят тысяч рублей, пожертвовал один друг мой, пожелавший остаться неизвестным. Нам удалось закупить семян для посева и ржи для прокормления людей. Но встал вопрос о том, как предотвратить такое бедствие в будущем? Хлеб и семена раздавались крестьянам в долг, и вот, когда они начали возвращать этот долг, кто хлебом нового урожая, кто деньгами, мы решили употребить и то и другое на образование хлебного магазейна, где всегда были бы запасы на случай неурожая. Хлеб в магазейне нашем имеется теперь непрерывно, и мы раздаем его нуждающимся.

– А те из крестьян, кто по скудности своей не мог вернуть долга, что вы с ними учинили? – спросил адмирал, которого всегда интересовала практическая сторона дела.

– Они привлекались к изготовлению кирпича для каменного здания магазейна и к распахивке заброшенных мест. Дело идет споро. К нам присоединяются жители уже не одной сотни деревень. Ежели б это можно было распространить на всех других!

– А почему нельзя распространить столь полезного учреждения?

Новиков повел плечами, причем его черный кафтан вздулся горбом на спине.

– Наше учреждение многим кажется опасным, – невесело усмехнулся он.

Было видно, что постоянная борьба за каждое новое начинание и гибель многих предприятий наложили на него свою тяжелую руку. Лицо выглядело нездоровым и желтым, а отекая припухлость век делала его старше, чем он был в действительности.

Ушаков не стал расспрашивать, кто же считает опасными хлебные магазейны. Все было сложно и трудно в этом мире. И, несмотря на практическое направление своего ума, Ушаков многого не мог понять.

Благополучно устроить в мыслях своих человеческую жизнь можно было, не вставая с кресла. Но как туго поддавалась она усилиям человека, когда он подходил к ней с намерением сделать ее лучше на деле. Самая ничтожная попытка что-то изменить встречала тысячи препятствий.

Адмирал хорошо знал это по себе. Ему было приятно, что перед ним сидит деловой человек, который умело и твердо выполняет каждую поставленную перед ним задачу и не опускает рук в самых тяжелых обстоятельствах.

Но Ушакову захотелось выяснить, какое средство считает этот человек наиболее верным для улучшения общей жизни своей родины и человечества.

– Как я усмотрел из ваших слов, страх и темнота людей часто мешают вашей полезной деятельности. В чем же полагаете вы лекарство для излечения различных неурядиц и бедствий страждущего человечества?

Но тут, как всегда, его постигло разочарование.

– Спасение человечества и родины нашей я полагаю в правильном воспитании людей и их самоусовершенствовании, – очень охотно ответил Новиков.

Видимо, попав на одну из своих любимых тем, он начал пространно объяснять, в чем заключается это самоусовершенствование. В первую очередь, в борьбе с «самостью», то есть с себялюбием, гордостью и прочими личными пороками, на основе правильно понятого христианства.

– Мне открылось это не сразу, я долго блуждал во тьме, – говорил Новиков, и в голосе его появились какие-то певучие, очень не шедшие ему ноты. – Я был тяжело болен, и болезнь моя

заставила меня прозреть. Наше учение очень просто. Наша задача – познание Бога, природы и самого себя. До сих пор христианство было понимаемо превратно...

«Ах, боже мой, обо всем этом не одну тысячу лет говорят», – подумал Ушаков не потому, что сам отвергал религию, а потому, что все, что теперь говорил Новиков, казалось ему преувеличенным, ненужно ханжеским и чуждым всему деловому и трезвому облику известного всем поборника просвещения. И самое слово «самость», явно выдуманное и фальшивое, было Ушакову неприятно.

«Сколь противоречива душа человека, – думал адмирал. – И какие несхожие чувства и мысли в ней уживаются...»

Однако, очень хорошо разбираясь в чужих противоречиях, Ушаков как-то забыл о своих. Сам он охотно и без принуждения выполнял требования официальной религии и в то же время разделял веру своего века в разум. Признавал всех людей равными перед ликом творца, но не отвергал их жестокого и чудовищного неравенства перед лицом действительности. Все это жило в его уме раздельно и никак не мешало друг другу. Хотя путь к лучшему будущему, найденный Новиковым, Ушаков признал наивным, сам он не мог предложить для достижения общего благоденствия ничего, кроме добродетельного монарха.

Он продолжал слушать объяснения Новикова насчет того, что такое душа и чем она разнится от духа, но это его уже не занимало, и он был рад, когда его собеседник замолчал.

### 3

После разговора с Новиковым адмирал почувствовал себя более свободно и стал непринужденно переходить от одной группы гостей к другой. Это путешествие по «философическому архипелагу» очень ему нравилось. Он жадно ловил различные мнения и любопытные высказывания, складывал их в своей памяти, чтоб поделиться потом с Непениным.

В одном месте говорили о способах смягчения власти помещиков над крепостными, и кто-то спросил, что думает на этот счет адмирал. Ушаков не привык говорить в подобных собраниях, не знал еще, как ему лучше держаться, и потому ответил стесненно и коротко:

– По скромному мнению моему, смягчению участи земледельца мог бы споспешествовать закон. В иных местах следовало бы ограничить барщину, а в иных – оброк... согласно условиям этих мест.

Так как некоторые из беседующих с ним согласились, то он не без удовольствия подумал, что высказал трезвую мысль. Но он очень бы удивился, если б ему сказали, что мысль его могли найти чересчур смелой.

В другом месте молодой человек с густыми кудрями страстно доказывал, что всякая благотворительность бессмысленна и что надо добиваться только повышения общего благосостояния.

Тут Ушаков, уже не ожидая приглашения, вступил в спор.

– Добиваться повышения общего благосостояния, конечно, следует, – заметил он, – но пока эта цель не достигнута, проходить мимо чужих бедствий постыдно. Питая свою любовь к человечеству, молодой человек, – добавил Ушаков, – надлежит неусыпным участием к делам своего соседа. Не будете проявлять сочувствия к ближнему, позабудете рано или поздно и о человечестве.

Адмирал не задержался только у самой большой группы гостей, которая собралась около Гамалеи. Там обсуждали такие возвышенные предметы и так непонятно, что Ушаков не надеялся их постичь. Он поспешно двинулся дальше, в самый уединенный угол гостиной, где Аргамаков, близко наклонившись к плотному седому человеку, что-то весело ему рассказывал. Сосед его смеялся, и Аргамаков вторил ему, обмахиваясь снятым с головы париком.

В небольших, по-зимнему сильно натопленных комнатах было действительно жарко и душно, и многие гости постарше расстегнули кафтаны.

– Рекомендую вам самого ужасного человека в Петербурге, – смеясь, заметил Аргамаков приблизившемуся Ушакову – День и ночь он читает Гельвеция и Ламетри и преподает такие вещи, перед коими содрогаются все благочестивые души. Бога не признает, над служителями его смеется, сатаны не боится и даже полагает, что его тоже нет. Я сам страшусь этого человека, но не могу отказаться от его общества. Хотите – знакомьтесь с ним, хотите – нет. – И Аргамаков, взяв адмирала за руку, притянул его ближе, так что головы всех троих почти соприкоснулись.

– Страшные слова меня не пугают, – ответил адмирал, кланяясь неизвестному гостю.

– Ибо в них иногда, несмотря на странность, заключена истина, – сказал тот, улыбаясь сухими, твердыми губами. – Религия создает несуществующие видения, а видения делают жизнь теплей лишь для слабых душ. Я не ищу сего тепла и предпочитаю жестокую ясность холодного разума.

Аргамаков перестал смеяться и совершенно серьезно, с каким-то тайным разочарованием заметил:

– Я верю в Бога... Но вот почему-то, вопреки всей моей вере, не чувствую его присутствия. Очевидно, я недостаточно чист для этого души.

Он вдруг поспешно встал, не то намеренно желая прекратить разговор, не то действительно вспомнив, что не сделал чего-то очень важного. И адмирал так и не узнал имени дерзновенного афеиста.

– Я все откладываю, потому что не уверен в себе, – говорил Аргамаков. – А между тем хочу просить вашего снисхождения. Я написал оду в честь успехов оружия российского во время последней войны с турками и имею, быть может, нескромное намерение посвятить ее вам, Федор Федорович. Друзья мои, – добавил он громче, – я обещал вам чтение, прошу внимания вашего!

Тотчас загремели передвигаемые слугами и гостями стулья. В передней части гостиной поставили стол со свечами и стаканом воды. Ушакова посадили в середину первого ряда, так, чтоб при чтении оды автор мог видеть адмирала прямо перед собой. Аргамаков, теперь уже в парике, с нахмуренным лицом, держал в руках свернутые в трубку листы.

Смолкла музыка в зале. Вереницей голубок впорхнули девушки и на цыпочках пробежали к своим местам. За ними последовали их кавалеры, военные и штатские, тоже той, напоминающей птиц походкой, какой ходят люди, стараясь не шуметь. Вошла и хозяйка с дамой в сером парике с гвоздиками. Было слышно, как под ними заскрипели стулья.

Рядом с Ушаковым сел Новиков, ободряюще улыбаясь поэту. Гамалея чесал подбородок, глаза его, моргая от яркого света свеч, казалось, ничего не видели. И снова было ясно, что чтение никак его не занимает, и если б его не заставили сидеть тут, он ушел бы в зал и шагнул бы там от стены до стены, нимало не тяготясь одиночеством.

Аргамаков поправил жабо, откашлялся и, так как страдал дальновзоркостью, далеко отставил руку, в которой держал рукопись.

– Я ведь не пиит, – сказал он застенчиво и опять закашлялся, теперь уже намеренно, явно призывая слушателей к снисхождению.

– Слушаем, слушаем вас, дорогой Диомид Михайлович! – ободряюще зашумели вокруг.

Аргамаков с отчаянным видом человека, который бросается в холодную воду, взмахнул рукой:

Пою побед нещадны громы  
И россос славные венцы...

Адмирал никогда особенно не интересовался стихами, но теперь ему все же было любопытно, как претворяются в поэзии только что ушедшие события войны. Обязывало ко вниманию и то обстоятельство, что ода посвящалась ему. Она была очень длинна и полна той тяжелой торжественности, которая требовалась литературным вкусам времени.

Поэтическая традиция не имела власти над Ушаковым. Он с сочувствием смотрел на автора, но подмечал все слабости его чтения и его стихов.

«Пожалуй, пора бы и в поэзии заговорить языком более простым и естественным, – думал адмирал. – Жаль, что у доброго пиита нет для того надлежащих сил».

Однако, чем дальше он слушал, тем больше замечал среди грузных, напыщенных слов теплую, искреннюю интонацию. Она то исчезала, то возникала вновь, а вместе с нею рождались и простые ясные слова, которыми говорят в минуты подлинного волнения.

«Э, да он хоть и ошупью, а пытается выйти на настоящую дорогу!» – одобрительно подумал Ушаков.

Скоро он заметил, что теплое и искреннее звучание появлялось в оде Аргамакова всякий раз, когда поэт говорил о родине, о ее славе. И всякий раз Ушаков дружески кивал ему и думал о том, что любовь к отечеству делает каждого человека лучше и правдивее.

К немалой досаде адмирала, Аргамаков вдруг забрался в мифологию, а потом принялся воспевать какого-то неведомого Диодора. Диодор этот, видимо, был большим любителем мор-

ских сражений и одерживал победы с приятной легкостью и неизменным успехом. Адмирал уже начал про себя посмеиваться над его тактическими приемами, как Аргамаков особенно громко прочитал:

Взыграли волны с небесами,  
Певец ударил по струнам.  
А он один стоял пред нами  
И путь указывал ветрам.

Сразу же закрипели стулья, и в общем движении все гости повернулись к Ушакову.  
– Это папенька о вас! – воскликнула на всю комнату Лизон. – Повелитель ветров – это вы!  
Ушаков только сейчас догадался, что в образе Диодора автор оды вывел именно его. И хотя он не помнил случая, чтобы ветры ему покорялись, но принял это и, в знак признательности за лестное мнение, поклонился.

«Вот уж не думал, что попаду в Диодоры!» – мысленно удивился он.

– Уж вы простите нас, батюшка Федор Федорович! – сказал Аргамаков. – Хоть и не очень знатными стихами, но все мы хотим чувствовать в вас добрую нашу славу морскую, тружеников Тендры и Калиакрии.

Глаза Аргамакова сияли, взволнованное красное лицо его светилось и чем-то очень напоминало в эту минуту Непенина. Он горячо обнял адмирала и вручил ему свиток с одой.

– Отечеству Российскому все наши жизни принадлежат, – сказал он с такой твердостью, что у Ушакова вдруг защеботало в горле.

Адмирал понял, что за внешними странностями и слабостями этого человека скрывается искреннее сердечное воодушевление. Он почувствовал, что рядом стоят настоящие друзья, которые каким-то непостижимым образом проследили его жизненный путь, одобрили его упрямство в служении флоту, оценили в нем и в его соратниках то, что ценил в себе и в людях сам Ушаков.

То, что Аргамаков сказал о «тружениках Тендры и Калиакрии», особенно сильно растрогало адмирала, а само слово «труженики» показалось ему веским и значительным.

– Спасибо, друг мой! Спасибо, друзья мои! – говорил Ушаков Аргамакову и окружившим его гостям. – Не думали мы там, в Севастополе, что скромные труды наши оцениваются столь высоко в обществе, далеком от дел бранных.

Новиков крепко сжимал руки Ушакова, и умные темные глаза его с непонятной грустью глядели на адмирала. А страшный афеист дружески улыбался ему через головы толпившихся около Ушакова людей. Сам Аргамаков стоял за столом с выражением человека, который ждет приговора. Он хмурился, пытался кашлянуть, но, вопреки его стараниям, улыбка никак не сходила с его лица.

– Я ведь не пиит, – заметил он еще раз с робкой, но явной надеждой, что ему докажут обратное. – В журнале я больше пишу в отделе смеси и в обозрениях.

В молодости Ушаков считал, что правда всегда беспощадна. Но с тех пор утекло много воды, и он понял, что правда, кроме того, должна быть вдумчивой и осторожной. Если стихи Аргамакова были и не очень хороши, то за ними все-таки стояло живое человеческое сердце.

Поэтому он сказал хозяину правду более глубокую, чем та, на которую был бы способен раньше:

– Стихи ваши не во всем мне понятны и следуют литературной манере, мне чуждой. Однако в местах, до отечества нашего касающихся, в них чувствую талант настоящий.

Гости уже поздравляли теперь и Аргамакова и Ушакова, и неизвестно было, к кому относятся эти поздравления. Всем было весело, и все чувствовали себя непринужденно. Аргамаков, не будучи в силах скрыть удовольствия, снова стащил с головы парик.

Лизон, вся розовая, выпятив румяные губы, воскликнула:

– Папенька, вы Гомер! Я всегда это говорила.

И все, кто был в зале, засмеялись.

Ушаков чувствовал искреннюю близость к этим, недавно незнакомым ему людям, и они, видимо, разделяли это. Разница их взглядов со взглядами адмирала была очевидной, но все они хотели благоденствия и успехов для своего отечества и в этом были едины.

Гостей позвали ужинать. Довольный и подобревший адмирал сам подал руку Лизон. Он смеялся ее болтовне и перебрасывался веселыми замечаниями с афеистом, сидевшим против него за столом. Хозяин тут же сочинил шуточный разговор между турком Ибрагимом и Иваном Косых на тему – есть ли у женщины душа? Поднялся шум и смех, причем каждый пытался вставить что-нибудь забавное в их диалог. Ушаков не отставал от других и должен был сознаться, что давно так приятно не проводил времени.

Он обернулся к сидевшему рядом с ним Новикову, чтоб спросить, почему тот молчит, и был поражен видом его осунувшегося лица и тяжелой озабоченностью взгляда. Ушаков ни о чем не спросил Новикова, но веселье в душе его как-то сникло, и снова то тревожное ощущение подстерегающей беды, которое возникло после первого разговора с Аргамаковым, покрыло все своей непроницаемой тенью.

Гамалея первый встал, чтоб уйти, за ним поднялись и все остальные.

– Какая темень! – сказал Новиков, когда уже одевался в передней. – Какая темень над городом!

Но Аргамаков взял у слуги свечу и, свесившись через перила лестницы, высоко поднял мерцающий, колеблющийся огонек.

– Свет в сем мире никогда не угасает! – воскликнул он.

И теплые капли воска падали на головы и плечи спускавшихся по лестнице гостей.

## 4

В придворной карете, присланной императрицей Екатериной, Ушакова ждал Попов, бывший правитель канцелярии светлейшего князя Потемкина, а после смерти князя – правитель канцелярии ее величества.

Он был укутан почти с головой в черную бархатную шубу на собольем меху. Белый нос его, испещренный золотой россыпью веснушек, стал как будто еще белее.

– Я торопился увидеть вас, Федор Федорович! – воскликнул Попов, крепко сжимая пальцы адмирала. – Вы так живо напомнили мне наше славное прошлое.

– Разве оно уже исчезло? – спросил адмирал.

– Нет, великая душа его светлости покорила само время. Вы увидите, что все подчинено здесь имени покойного князя. Ее величество не предпринимает ничего, не убедившись прежде, каково было мнение князя о задуманном деле.

Адмирал давно не встречал Попова, но помнил его осторожность в оценке событий и обстановки. Если он говорил, что Потемкин продолжает жить, значит так оно и было. А это обстоятельство как нельзя более благоприятствовало надеждам и планам адмирала.

Получив высочайшее повеление явиться в Петербург, он всю дорогу пытался раскрыть смысл этого повеления. Перебрав около десятка различных вариантов, адмирал остановился на том, который более всего соответствовал его собственным тайным желаниям.

Ходили слухи, что председательствующим в Черноморском адмиралтейском правлении назначат опять адмирала Мордвинова, давнего врага Ушакова. Но милостивый тон повеления вселял надежду, что императрица понимает, как нелепо оставлять во главе флота человека, который не сделал ни одной кампании, не одержал ни одной победы. Она хотела доверить флот и защиту русских морских границ ему, Ушакову. Чем ближе подъезжал адмирал к Петербургу, тем все более проникался этой мыслью. А теперь, как это ни было странно, даже стихи Аргамакова чем-то усилили его уверенность. Когда Попов сказал, что все подчинено имени князя, надежды адмирала приобрели новую и, как ему казалось, твердую опору. Ушакову очень хотелось спросить Попова не о себе, а о судьбах флота. Но он боялся, что Попов догадается о его надеждах и про себя над ними улыбнется.

Начальник канцелярии проявлял несвойственную ему говорливость.

– Государыня ежедневно призывает меня, ибо никто лучше меня не знает замыслов его светлости. Порой я по нескольку дней не выезжаю из дворца, – сказал Попов так спокойно и даже несколько небрежно, что адмирал сразу понял, каким необходимым человеком для императрицы и самой империи считает себя Попов. – Дел – непочатый край! – воскликнул Попов с явным удовольствием. – И ежели не все идет, как должно, то по вине многих персон, не ведающих ничего, кроме корысти, а потому охуляющих все доброе.

И чтоб у адмирала не было никаких сомнений насчет этих персон, Попов развернул перед ним целый синодик.

Хотя люди, чьи имена вошли в этот перечень, еще жили, но можно было бы благословить тот час, когда они наконец улягутся по фамильным усыпальницам и перестанут отравлять воздух.

– Граф Салтыков, вы знаете? Человек сей пресмыкается перед теми, кто идет в гору, и тотчас предает тех, кому изменила фортуна. Он слышал, что есть совесть, но что это такое, никогда не мог узнать. А Остерман! Он дарит табакерки лакеям императрицы и нюхает с ними табак. Благодарные лакеи стараются для него в меру сил своих, им он обязан успехами. Левушка Нарышкин, гаер и шут... Ну, а что касается Зубова, то вам, наверно, известно, что это такое?..

Была ли ненависть Попова к новому фавориту императрицы такой сильной, что он не находил слов для ее выражения, или тут действовала естественная осторожность, неизвестно. Но Попов так и не объяснил Ушакову, что такое Зубов.

Карета уже приближалась к Зимнему дворцу, а начальник канцелярии, занятый своими обличениями, не только не намекнул адмиралу, зачем вызвала его Екатерина, но даже ни разу не спросил Ушакова о его делах.

Через несколько минут они уже поднимались по широкой мраморной лестнице, застланной пушистым ковром. Впереди бежали камер-пажи и распахивали украшенные золотой резьбой двери. Раскрылся большой зал, полный утреннего света, игравшего на стенах и навошенном полу. По этому полу шелестели атласные робы женщин и скользили красные каблуки мужчин.

Ушаков не раз стоял здесь перед царским выходом в те давно минувшие дни, когда был командиром императорской яхты. Принадлежал он к захудалому, обедневшему роду и всегда имел очень мало доходов и очень много самолюбия. Поэтому придворный мир казался ему чуждым и враждебным. Недаром он добился тогда перевода с царской яхты на корабль, отправлявшийся в дальнее плавание.

Теперь между ним и людьми в шитых золотом кафтанах, кроме самолюбия, легла уже целая жизнь, полная труда, борьбы и походов. И мир царского двора с его восходами и падениями, с его трепетным ожиданием высоких наград и благодеяний стал для Ушакова еще более далек.

Но люди, тихо скользившие по паркету, вероятно, думали иначе. Командира императорской яхты они просто не замечали, как не замечала его сама императрица. Но адмиралу, прославленному столькими победами, они улыбались и говорили много приятных слов, так как знали, что теперь императрица почтила его своим благоволением.

Даже на каменном лбу гофмаршала князя Барятинского собрались ласковые морщины, и между крупных, вечно недовольных губ блеснули в улыбке прекрасные, выписанные из Парижа зубы. Они были так белы, что походили на кусок сахара. И люди, глядя на гофмаршала, прежде всего видели не его величественную фигуру, не лицо с массивными чертами старого, много пожившего льва, а этот белый кусок во рту.

Попов пошел дальше, и при его приближении толпа придворных торопливо расступилась. Длинноносый старик с красными руками и молодой человек в зеленом кафтане о чем-то тихо и почтительно заговорили с ним. Попов ходил очень быстро, и они спешили за ним полубегом, чуть припрыгивая на носках.

Адмирал, который шел позади Попова, случайно взглянул на его ноги. Как у всех худых и высоких людей, у Попова были очень большие ступни, а потому тощие икры его походили на узловатые жерди, к которым привязали тяжелые бруски. Было в этом что-то педантское и немного смешное. Несмотря на окружавшее Попова раболепство, несмотря на высокомерную уверенность самого правителя канцелярии, Ушаков вдруг подумал, что величие его непрочное.

У одной из дверей Попов остановился и пропустил адмирала вперед. Камердинер императрицы отворил дверь пухлой, жирной рукой.

Прямо против дверей в кресле сидела императрица, Она была одета в белый капот из шелковистой материи и, тоже белый, воздушный чепчик с рюшками. Облачная белизна ее одежды придавала свежесть ее полному нарумяненному лицу и скрывала повисшую под подбородком кожу. Она похудела, и под голубыми глазами ее образовались желтоватые опавшие мешочки.

Согласно придворному этикету Ушаков опустил на одно колено и осторожно коснулся губами руки императрицы с истонченной, как у всех стариков, кожей, сквозь которую просвечивали синеватые вены.

– Князь очень любил тебя, – прошептала Екатерина и вдруг быстро и тяжело задышала с той готовностью к слезам, какая бывает у старых женщин. – Я все не могу привыкнуть, не пойму никак, что его нет. Его вещи напоминают мне о нем так живо...

Адмирал только сейчас заметил большой портрет Потемкина, висевший по правую руку императрицы. Художник, видимо, пытался изобразить в нем некое отвлеченное величие. Князь стоял, опираясь одной рукой о колонну, а другую протягивал вперед, властным жестом указывая в будущее. У ног его два голеньких пухлых гения разворачивали свиток его деяний. Над головой парил лавровый венок. Все черты были как будто схожи, но слишком правильны и столь же безупречно красивы. И была в этих чертах какая-то вечная застывшая молодость. Вероятно, для того чтоб уже никто не мог усомниться в величии оригинала, художник так тщательно выписал ордена, что казалось, будто они прикреплены к портрету булавками.

Несмотря на явное сходство, адмирал никак не мог соединить этого холодного изображения с тем образом Потемкина, что живо сохранился в его памяти. Не было знакомой ему нечесаной гривы и почти всегда открытой потной волосатой груди. А главное – не было того человека с буйной смелой фантазией и неутомимой жадой деятельности, которого он так хорошо знал.

На маленьком столике под портретом стояли тоже знакомые адмиралу часы с бронзовым Хроносом, а около них – серебряные канделябры, поддерживаемые фавнами.

Вероятно, даже кресло, в котором сидела императрица, принадлежало прежде князю.

Императрица вытерла глаза, рот ее все еще вздрагивал. Она кивнула Ушакову на стул, стоящий у ее кресла. Придерживая шпагу и стараясь не задеть тонконогий хрупкий столик, он осторожно опустился на указанное ему место.

Императрица вынула из кармана своего капота очки в перламутровой оправе и протерла их стекла белым платочком.

– Тебе, верно, сей снаряд еще не надобен? – спросила она.

– Нет, ваше величество.

– А мы в долговременной службе государству притупили зрение и теперь принуждены очки употреблять, – с расстановкой произнесла императрица. Подобно большинству стареющих женщин, она хотела объяснить, что не так стара, как это может казаться.

Адмирал не нашел подходящего ответа и только вздохнул, как бы сожалея о том, что все на свете быстротечно, особенно молодость. Неожиданно для самого себя он подумал, что печаль императрицы о Потемкине наигранна и уж во всяком случае не так остра.

Но Екатерина уже снова вернулась к Потемкину и к недавней войне. Она хотела знать мысли адмирала. Отвечая ей, он снова задавал себе вопрос: зачем его вызвали в Петербург? Ведь не для того, чтобы расспросить о прошлых сражениях, как бы высоко ни расценивала императрица его успехи. Должна была быть иная, более живая причина. Отношения России с молодой французской республикой становятся все хуже. Может быть, готовится новая война и в нем нуждаются как в боевом адмирале? Желая незаметно нащупать почву Ушаков сказал:

– Турки продолжают умножать свой флот. Французские революционисты в сем деле следуют политике своего короля, сколь ни велика их ненависть к своему монарху.

– Революционисты, – повторила Екатерина, – отрицаясь монарха просвещенного, поддерживают восточного деспота, султана турецкого. Из сего можно заключить о их неистовстве, кое угрожает не только их отечеству, но всему человечеству вкупе. Германские князья уже молят меня о помощи. Шведский король Густав, отложив вражду свою, предлагает мне содружество, ибо мы не можем отдать короля Людовика Шестнадцатого варварству его народа. Бог вручил нам бразды земного порядка, и мы объявим поход в защиту царей.

Делая едва уловимое движение горлом, императрица пыталась придать своему голосу особую силу. Однако эти ее старания и пышные слова придавали тому, что она говорила, характер какой-то общей декларации.

Изошренные уши должны были уметь слушать, а слух адмирала стал более тонок, чем был раньше. Поэтому, когда она сказала: «Мы объявим поход в защиту царей», Ушаков тотчас подумал, что никакого похода не будет и вопрос о том, зачем его вызвали, пока так и останется открытым.

– Кто посягает на священную особу монарха, тот посягает на волю Бога, – вдруг добавила Екатерина, уже явно не для адмирала, а для французских революционистов и тех, кто им сочувствовал.

Екатерина не верила в Бога, но, следуя скептическому лицемерию Вольтера, находила его полезным. «Если б Бога не было, его следовало бы выдумать», – говорил Вольтер. Монархам, конечно, нет никакой нужды выдумывать Бога для себя. Бог необходим для народа, для обуздания его страстей, для того чтоб народ повиновался власти. Ввиду предстоящей борьбы с революцией авторитет божественного промысла надо было поддержать всеми средствами.

Екатерина готовилась поднять народы и царства на защиту прав Людовика XVI и желала выполнить эту миссию с наименьшими затратами и наибольшим успехом. Надо было стать во главе похода, но сражаться послать других. На это всего пригоднее оказывался король шведский, «Горе-богатырь Косометович», как она называла его в своей комедии. Пока Густав III с привычным ему рвением будет драться с мятежными французами, можно будет решить без помехи все спорные дела России с Польшей.

И когда Екатерина так много и торжественно говорила о священном походе, Ушаков очень хорошо понимал смысл ее слов.

– Князь недаром любил тебя, – сказала Екатерина, довольная его догадливостью, и улыбнулась, позабыв скрыть, что у нее недостает одного переднего зуба.

В это время двери тихо распахнулись и вошел молодой красивый генерал. Походка его была легка, вкрадчива и осторожна, словно он входил в комнату тяжело больного. В больших глазах светилось выражение бережной заботливости. Он взял ладонь императрицы и осторожно коснулся ее румяными губами. Руки молодого генерала с розовыми отполированными ногтями, полускрытые кружевом манжет, были белы и нежны, как у женщины. Они, по-видимому, ему самому нравились, потому что он часто подносил их к лицу и, прищурившись, разглядывал свои сияющие ногти.

Лицо императрицы сразу изменилось. Уголки губ ее приподнялись в полуулыбку, все лицо подобралось и приняло выражение какой-то девичьей наивности.

– А мы беседовали здесь, Платон Александрович... Жаль, что ты пришел слишком поздно, – проговорила она, растягивая слова и особенно имя и отчество генерала.

Не меняя манеры тихой любовной заботливости, граф Зубов взял адмирала за оба локтя.

– Рад видеть вас, ваше превосходительство. Суворов на суше, Ушаков на море – империя может жить спокойно, – произнес он мягким приглушенным голосом, восторженно глядя на Екатерину.

Щеки императрицы порозовели под румянами, порозовел даже подбородок. Она смущенно оглянулась на адмирала, и Ушаков прочел в ее взгляде просьбу не судить ее строго.

Но он верил в ее ум и не мог понять, как не видит она, что ее слишком запоздалая любовь уже смешна.

Ушаков поблагодарил графа Зубова за лестное мнение и не мог подавить все возрастающего омерзения к нему и к той роли, которую он играл близ старой влюбленной императрицы, годившейся ему в бабушки.

– Его светлость князь Григорий Александрович в последний приезд свой сюда много говорил о вас, – любезно продолжал граф Зубов. – Он умел ценить людей.

– В свой последний приезд сюда князь очень переменился, – грустно сказала императрица. – Он стал таким задумчивым. Это меня встревожило тогда. Ты помнишь, Платон Александрович, я сказала: живой человек всегда имеет недостатки, но если они исчезают, а остается

только эта необыкновенная доброта, всепрощение, особая мудрая глубина ума, это значит, что человек готовится к переходу в иной, прекрасный мир.

– Я не поверил тогда, государыня. Но вы угадали, как всегда. Да, это был большой ум, чуждый всего мелочного.

Граф Зубов поднес к лицу свои сверкающие ногти. Он говорил тоном полного беспристрастия, отдавая дань уважения своему сопернику. Ведь мертвые не страшны живым, они даже могут служить им с немалой пользой. Кроме того, кто-то должен был постоянно делиться с императрицей ее воспоминания о Потемкине, и было безопаснее взять эту миссию на себя, чем предоставить ее кому-нибудь другому.

Ушаков знал, что молчать неучтиво, что люди, которые некстати молчаливы, не могут иметь успеха у трона, но в нем вместе с омерзением к Зубову поднялось старое упрямство. Он не станет заколачивать золотых гвоздей в крышку гроба Потемкина.

Зубов посвятил адмирала в свои отношения с Потемкиным. Оказалось, что князь всегда делился с ним своими государственными замыслами, своей страстью к работе и любовью к морю и флоту.

– Я научился понимать этот высокий дух, который никогда не унижался до вражды. Я храню письма, кои его раскрывают со всей полнотой, – сказал он, как всегда, тихо, и большие красивые глаза его стали печальными.

Ушаков очень хорошо знал о той смертельной ненависти, которая, как аркан, связывала Потемкина и Зубова. А потому неумеренные похвалы Зубова князю и его «высокому духу» очень встревожили адмирала.

«Нет, этот «высокий дух» явился недаром! Зубов делит с князем его замыслы, чтоб сделать их своими. Он надеется стать Потемкиным. Не зря он так полюбил море и флот. Ведь здесь ничего не говорят понапрасну. Да неужели же этот купидон, эта торгующая собой прелестница станет во главе флота?» – думал Ушаков, и ему хотелось отвязаться от этой мысли, как от дурного сна.

А императрица говорила, стягивая в узелок подкрашенные губы:

– Платон Александрович написал прожект, который должен тебя порадовать.

– Буду счастлив познакомиться с ним, ваше величество.

– Я попрошу вас, ваше превосходительство, пожаловать ко мне в понедельник поутру, – сказал Зубов.

А императрица с тем заискивающим видом, какой бывает у людей, знающих за собой постыдные и смешные слабости, ласково коснулась надушенным платком золотого эполета на плече адмирала. Словно желая его задобрить, она сказала с заметной поспешностью:

– Я еще ничем не показала тебе своей благодарности. Но я ничего не забыла...

...Домой Ушаков ехал один.

Карета была обита красным бархатом, и в ней стоял неприятный красноватый сумрак. Слабо поблескивали серебряные львиные головы с цепочками в зубах. Цепочки придерживали тяжелые и пыльные занавески с выцветшей бахромой.

Сквозь затянутое морозной пленкой окно мелькала белая Нева, белое небо, и на нем, словно разведенными чернилами на листе бумаги, были намечены бастионы Петропавловской крепости.

Но внимание адмирала лишь на мгновение задержалось на этой когда-то привычной картине.

Хотя во время аудиенции ничего определенного не было сказано, она все-таки кое-что разъяснила. Прежде всего стало совершенно очевидно, что о «потемкинском духе», который, по словам Попова, управлял всеми помыслами императрицы, напоминали одни только стулья и подсвечники. Видимо, Попов потерял свой безошибочный придворный нюх и совсем этого не понимал. Второе и самое важное, что можно было предполагать, – это намерение Зубова

взять на себя руководство флотом. Но стоило ли гадать об этом? Если б Ушаков имел хоть самую ничтожную возможность помешать Зубову в его намерении, то об этом следовало бы думать. Но ведь такой возможности не было. Значит, все гадания бессмысленны и надо ждать событий, которых нет силы предотвратить.

Однако мысль о будущем флота сидела в уме адмирала, как гвоздь. И он заметил, что карета остановилась у подъезда дома Аргамакова только тогда, когда лакей открыл дверцу и доложил:

– Пожалуйте, ваше превосходительство. Прибыли.

## 5

Через несколько дней Ушаков был приглашен императрицей на праздник в Таврическом дворце.

Несмотря на внимание Екатерины, адмирал ехал на праздник с тяжелым чувством человека, который предвидит, что его гордость будет не раз уязвлена. А когда он, войдя в притвор дворца, снял шляпу и коснулся своих волос, взбитых над теменем высокой волной, болезненный стыд вдруг обжег его с головы до ног.

Ради сооружения этой волны, носившей название «тупей», пришлось пригласить парикмахера-француза. На этом настаивал Аргамаков, да и Попов с обычной деликатностью намекнул, что на празднике будут персоны, а потому следует одеться со всем блеском. За всю жизнь адмирал никогда не думал о красоте своей одежды и прически, твердо уверенный, что никакие ухищрения не исправят его заураженной внешности. Каждый, кто увидит эту нелепую прическу, поймет это и будет прав, если рассмеется.

Уверенный, что теперь все будут глядеть на его голову, адмирал хотел идти дальше, но дороге ему загородил бесформенный узел, который распаковывали два лакея. С человека сняли бархатную епанчу на соболях, потом шубу, потом какой-то странный атласный стеганный капотец, размотали шарф, и перед адмиралом предстал маленький худощавый генерал с острым носом, опускавшим на верхнюю губу.

Генерал был в военном зеленом мундире, на груди его сияли все ордена Российской империи. Левою рукою он опирался на золотой костыль и отставлял его так далеко назад, словно собирался на него сесть. Генерал поднес к носу пальцы, понюхал их, что, вероятно, было признаком раздумья, и быстрым, как бы все сразу схватывающим взглядом оглядел адмирала. На губах его появилась та условная улыбка, за которой можно было читать все что угодно.

– Простите, государь мой, я ведь не ошибаюсь, если угадаю в вас прославленного победою адмирала Ушакова?

– К вашим услугам, сударь, – сумрачно отвечал адмирал, сразу заметив, что человек этот смотрит ему в лоб и угадывает значение его тупея.

Сановник коснулся руки адмирала холодными костлявыми пальцами и повлек его за собой.

Пока они медленно приближались к входу в зал, украшенному двумя колоннами из красного мрамора, адмирал узнал, что спутник его не кто иной, как граф Салтыков, тот самый, которого одни называли за глаза «крестным папенькой» графа Зубова, а другие просто «старой сводней». Так или иначе, он был причиной «случая» теперешнего фаворита, жил во дворце, и содержание его стоило дворцовой конторе двести тысяч в год. «Крестник» очень почитал его и каждый день навещал.

Попов говорил адмиралу, что Салтыков обладал еще одним талантом: он никогда не имел собственных мнений, почему и сделал прекрасную карьеру. По нему, как по барометру, можно было определить, насколько кому улыбается придворная фортуна. И теперь по его ласковому, не совсем ясному бормотанью (Попов уверял, что он и бормочет для того, чтоб его нельзя было с точностью понять) адмирал мог быть уверен в том, что счастье повернулось к нему своим сверкающим ликом.

Салтыков между тем говорил, слегка причмокивая губами:

– Победа ваша над Гасаном у Синопа доставила всем истинную радость.

Как видно, из всех турецких городов, находившихся на Черноморском побережье, Салтыков помнил один только Синоп и был убежден, что все более или менее важные события происходили непременно у Синопа. Ушаков не нашел нужным обременять голову графа бес-

полезными для него сведениями и доказывать, что разбил турецкого адмирала Гасана у острова Фидониси.

Они прошли между красных мраморных колонн с золочеными подножиями и капителями, похожими на сказочные короны гигантов.

Ушаков невольно поднял голову. Над ним слабо мерцал золотыми искрами купол. Он опирался на широкий карниз, по краю которого, словно раскаленный стальной пояс, тянулся сплошной ряд фонарей, красных и синих. От них шла тревожная и бесшумная световая игра. Несколько колонн поддерживали хоры с полукруглым сводом. Оттуда глядели, как из тумана, два неподвижных лица с косыми глазами и бесстрастной улыбкой буддийских святых. И, споря с багряным светом, горели две люстры из черного хрусталя. Мертвый блеск черных кристаллов придавал особую мрачную красоту открывшемуся перед адмиралом залу.

– Кто строил чудный храм сей? – спросил адмирал.

Салтыков подумал и чмокнул губами.

– Насколько память не изменяет мне, это Баженов... впрочем, нет, Старов. Да, Старов. На свете обитает столько людей, что невозможно всех помнить.

Он понюхал свои пальцы и передал Ушакова гофмаршалу двора, князю Барятинскому, которого Ушаков мельком видел на приеме у императрицы.

– Сегодня я не дерзаю напоминать вам ни о чем, кроме веселостей. Таково желание ее величества, – сказал Барятинский и взял Ушакова за локоть.

Адмирал очень не любил, когда его брали за локти. Это у людей чуждых означало или покровительство, или намерение использовать его в своих целях. Ни то, ни другое не могло быть приятно.

– Государыня сама открывает бал польским, – продолжал Барятинский, – и одна из первых красавиц столицы ждет, чтоб вы подали ей руку.

– Жаль, что красавица заранее обрекает себя на скуку.

– Она считает за честь побеседовать с человеком, имя которого чтит вся Европа.

Адмирал чуть поморщился от излишней щедрости этого комплимента.

В это время кто-то наклонился к его уху и, сдувая дыханием пудру с волос, зашептал:

– Не верьте, Федор Федорович! Красавица, которая вам обещана, не доставит утех. Я надеюсь порадовать вас лучшими веселостями.

Это говорил Ушакову Попов. И адмирал удивился его непривычно легкомысленному тону. Люди менялись у него на глазах и, как видно, далеко не к лучшему.

– Я мало пригоден для веселостей, государь мой, – сказал Ушаков.

Но Попов продолжал, смеясь, нашептывать в ухо адмиралу:

– На днях Безбородко устраивает праздник, на который уже положено просить вас пожаловать. Там вы увидите прелесть и грацию, перед которой не устоит ни один смертный. Вы, надо думать, не обременены предрассудками и знаете, что свежесть и прелесть природы принадлежат женщинам низкого происхождения. А мы все предпочитаем натуру неиспорченную и простоту аркадских нравов.

– Василий Степанович, не раскрывайте публично ваших пороков! – воскликнул Барятинский.

– Это добродетель, князь, ибо я люблю здоровье и свежесть существ простых и не мудрствующих лукаво.

Адмиралу хотелось перевести разговор на другую тему, но среди нарядных праздных людей, вероятно, трудно было говорить о чем-нибудь другом.

Попов повлек адмирала дальше.

Из таинственного сумрака купольного зала Ушаков сразу вступил в какой-то сияющий простор. Двойные ряды мраморных колонн уходили вдаль и сходились там полукругом, напоминая греческий храм. Между сдвоенными рядами колонн висели тридцать фонарей, похо-

жих на тридцать серебряных лун. А над головой в просторе зала, казалось, плыли в воздухе, подобно ладьям, окутанным ливнем, люстры, увешанные хрусталем. Везде по карнизам цепью мелких язычков с тонким треском горели сотни лампад. В простенках между окон огромные подсвечники из белой жести, тоже украшенные висячими гранеными хрустальями, как будто рассыпали ледяной дождь. Все эти огни играли, дрожали и повторялись в глянцевиной белизне колонн, мешаясь с тенями, которые пробегали, как ветер, в их глубине.

Адмирал глядел и не мог наглядеться. Двадцать лет провел он среди барачков, верфей и кораблей. Он забыл, что в мире существуют прекрасные вещи, созданные человеческим гением, такие, например, как этот дворец. Среди мощных колоннад, напоминавших о праздниках богов, под звуки вкрадчивой, проникающей в душу музыки перед адмиралом встал совсем иной мир.

Запах роз из зимнего сада касался губ и проносился мимо, как чье-то легкое дыхание.

– Это один из волшебных садов Армиды, – сказал Попов.

Ушаков увидел покрытые дерном лужайки зимнего сада, усыпанные шафранным песком дорожки. Кое-где лежали груды голубоватых камней. Они были раскрашены так, что напоминали поросшие мхом древние развалины. Журчали фонтаны в зеркальных гротах, задрапированных зеленым сукном. Хозяйский глаз адмирала тотчас отметил, что сукно было тронуту молью. По дорожкам и фальшивым лужайкам прохаживались мужчины в бархатных и атласных кафтанах и женщины в высоких прическах, украшенных цветами и бриллиантами.

Ушаков привык к дикой, почти нетронутой природе Крыма, к просторам степей и моря, а потому шафранные дорожки, зеркальные гроты и суконный мох показались ему особенно противными.

«Мало же вкуса у этой Армиды, если она столь изуродовала своими садами такое прекрасное здание, – подумал Ушаков. – Что это? Театр, в котором никогда не прекращается всеобщая игра?»

У него возникло такое ощущение, что он сам нечаянно попал на сцену, не зная, чего от него тут ждут и какую роль он должен сыграть.

Попов подвел адмирала к площадке, покрытой тем же зеленым сукном. Здесь на белом постаменте, едва касаясь его стройными ступнями, стояли три мраморные женские фигуры. Они были расположены так, что огоньки лампад как будто просвечивали сквозь их гибкие мраморные тела, и казалось, еще немного и они станут теплыми, почти живыми.

– Разве эти грации не пленительны? – спросил Попов, и на губах его появилась откровенная двусмысленная улыбка.

Ушаков ничего не ответил. К нему приближалась высокая белокурая красавица, в которой он сразу узнал племянницу Потемкина, графиню Браницкую. Пухлый изогнутый рот князя, что-то неуловимо знакомое в манере улыбаться и щурить веки – все это живо напоминало ему князя.

Браницкая все еще носила траур по знаменитому дяде: черное платье из тафты, покрытое золотой сеткой.

– Я жду вас, дорогой адмирал, – сказала она. И в то время как адмирал целовал ее руку, она чуть прикоснулась губами к его лбу.

Она увела его в нишу, где стоял золоченый диванчик. Весь вид ее, прекрасные, затуманенные влагой глаза, грустная небрежность движений, крепкое пожатие тонкой руки и та сдержанная порывистость, с которой она поцеловала адмирала в лоб, – все говорило о том, что воспоминания ее о Потемкине еще не были поглощены временем.

– Я не живу с тех пор, – сказала она, красивым и ловким движением головы откидывая тяжелые локоны.

– Да, ваше сиятельство, все стало иным.

– Я была при князе до последней минуты. Это так ужасно. Эта степь... Но он умер, как христианин. Он всех простил, за всех молился. Он говорил нам, что надо верить. Держал в руках икону, поцеловал ее...

Она остановилась, вероятно, вспоминая слова молитвы, и, не вспомнив, проговорила:

– Да, он сказал: «Вот спасение наше. Я уйду к нему. Прощайте. Молитесь». И великая душа его отлетела.

Адмирал много раз слышал рассказ о смерти Потемкина от обер-кригс-комиссара Фалева, рассказ простой, немудрый и правдивый. Ему было стыдно и за графиню и за те фальшивые слова, какие она приписывала князю.

Иконописный лик, в который превращался князь, становился все более сладостным и неправдоподобным.

Не зная, что сказать, адмирал неловко заметил:

– Мы все, служившие с князем, будем верны его памяти и его делу.

Графиня очень смутно представляла себе, что это за дело. Она улыбнулась и замолчала.

К адмиралу уже подходили знакомые ей люди, статс-секретари императрицы Остерман и Безбородко.

Граф Безбородко с трудом протискивал в толпе свое жирное тело. Он всегда ходил боком, стесняясь своей толщины. Голова его сидела на красной сплюсненной шее и была очень мала по отношению к большому телу. Он поминутно закрывал маленькие веселые глазки, словно опасался, что если кто заглянет в них поглубже, то уж ни за что не поверит их наивному добродушию. Приоткрыв рот, он провел языком по толстым губам:

– Хочу, чтоб вы мне были рады, сколь я вам рад, – проговорил Безбородко тонким, напряженно пронзительным голосом, – хотя и сомневаюсь радости вашей. Ибо в деле одном вы работали, а я пенки лизал.

Адмирал беглым взглядом окинул жирное тело, все увешанное драгоценностями. Андреевская звезда, погон для ленты, пуговицы; пряжки на башмаках – все это было составлено из бриллиантов чистейшей воды. Когда туша колыхалась, камни горели огнем. Маленькие веселые глазки статс-секретаря смеялись, и адмиралу тоже захотелось смеяться.

«Это, вероятно, тот самый верблюд, который, вопреки Писанию, легко проходил через любое игольное ушко», – подумал Ушаков, но вслух сказал:

– Я никогда не любил пенок, ваше сиятельство, а потому и не сетую, что их едят другие.

– Мне, как истинному хриstopродавцу, это слышать радостно. Вы не верите, что я хриstopродавец? Честное слово даю. Божусь, и вся диковина в том, что и божбе моей никто не верит.

Видно было, что душа его ясна, как кристалл, и сон сладок, как у младенца.

Богатство текло к нему рекой. Как главный директор почт, он распоряжался безотчетно всеми суммами департамента, приобрел шестнадцать тысяч душ крестьян, имел соляные озера в Крыму и рыбные ловли на Каспии. Как член коллегии иностранных дел, при заключении трактатов Безбородко получал подарки деньгами и бриллиантами. Но главные доходы его шли из другого источника. Через него поступали все тяжёбые дела, которые доходили до императрицы, указы о винных откупах и казенных подрядах, поставках, наградах. Он сам говорил про себя, что если б его поселили на необитаемом острове, он и там сумел бы извлекать доходы, продавая ягнят волкам, и стриг бы диких коз по десять раз в году.

Все знали, что он берет взятки, но он делал это так легко и радостно, что многие переставали считать дурным такое веселое занятие. Если же находились упорные недоброжелатели, то он обезоруживал их тем, что сам называл себя хриstopродавцем и мошенником и опять так весело, что никто не знал, верить ему или нет. К тому же сановники, бравшие взятки, представляли собой явление самое обычное и вызывали не столько негодование, сколько зависть. Разница между ними и Безбородко состояла в том, что они никаких других доблестей не имели,

а Безбородко был одним из лучших дипломатов Европы. Совсем недавно он очень успешно вел переговоры с Турцией, результатом которых явился Ясский мир.

Бурсацкое воспитание нисколько не мешало успехам его изощренного и гибкого ума.

Во дворце он бывал лишь на царских выходах и истинное удовольствие находил в обществе людей низкого происхождения. Там он мог не стесняться ни своего жирного неуклюжего тела, ни грубых манер. На интимные фантастические празднества его среди актрис и крепостных красавиц допускались лишь испытанные любители аркадских нравов.

– Не шутя, ваше превосходительство, – хохотал Безбородко, – со мной опасно иметь дело. Оберу до нитки.

– Все мое ношу с собою, – сказал Ушаков.

Безбородко прищурил маленькие свиные глазки.

– У вас можно взять очень много. Вы предназначены для дел сугубо важных, о которых не говорят на празднествах. Мир сотрясается такими громами, кои еще никому не снились. Кто знает, кому придется ратоборствовать с ними. Вы не знаете? Я тоже. Но я предложил бы всякому, пока он жив и, славу богу, не на поле брани, вести себя, как подобает царю природы.

– А что же ему подобает?

– Брать все, что ему нравится, – Безбородко совсем закрыл глаза, остались только две щели, словно проткнутые ножом в свежее испеченном хлебе. – А посему прошу вас, Федор Федорович, пожаловать ко мне запросто послезавтра.

Колыхаясь всем телом и сверкая бриллиантами, он боком, по стене, протиснулся к выходу и исчез.

Графиня Браницкая совсем уже забыла о своей грусти и своем трауре. Она отбыла свой долг и теперь хотела занять адмирала предметом более приятным и возвышенным. Она называла ему знаменитых красавиц и предлагала любоваться ими. Она настолько была уверена в своем превосходстве, что могла хвалить искренне чужую красоту.

Адмирал отвечал, как умел, глядел на красавиц и думал о том, что же означает это внимание к нему высокопоставленных лиц, ибо оные персоны ничего не делают даром. Кто мог заставить их подходить с ласковыми словами к незнатному, полунищему адмиралу? Конечно, императрица. Неужели это признание? А судя по неясным намекам, его готовят к чему-то, чего он не знает, хотя и может догадываться.

В это время взгляд адмирала остановился на одинокой молчаливой фигуре, внезапно возникшей близ сдвоенных колонн. Маленькая, с худыми, костлявыми плечами, в белом мундире с лентой и звездой на груди, она была так неподвижна, как будто ее водрузили на постамент. Тем более странным казалось ее лицо, которое ни на мгновение не оставалось спокойным. Какие-то мелкие, едва уловимые движения тревожили бледные полуопущенные веки и кожу большого лба.

Ушаков скоро заметил, что придворные, проходя мимо, почтительно кланялись молчаливой фигуре, останавливались, что-то говорили, но не задерживались долго, словно около этого странного человека кто-то очертил невидимый круг.

Это был генерал-адмирал флота цесаревич Павел Петрович.

Ушаков извинился перед графиней и своей быстрой походкой подошел к цесаревичу. Он давно ждал, что ему предложат представиться начальнику русского флота, но Попов как-то заметил, что сейчас не время. Между императрицей и ее сыном отношения портились нередко. Ходили слухи (Ушакова уже познакомили с ними), что императрица хочет совсем устранить сына, назначив наследником престола своего внука Александра.

Павел поднял на адмирала намеренно притушенный взгляд. Каждый новый человек, появившийся близ него, его тревожил. Он быстро прикинул в уме, какой вред может принести ему любимец его матери и Потемкина. И так как вред этот был неясен, он насторожился

еще больше. Привыкнув во всем видеть скрытый и враждебный смысл, цесаревич не мог быть спокоен, пока не разгадает его.

Быстрым и торопливым движением он протянул адмиралу маленькую худую руку.

– Я много знаю о вас и вам завидую, – сказал Павел тихо, но очень внятно, произнося отдельно каждое слово.

Если Салтыков, всегда старался о том, чтобы его никак нельзя было точно понять, то цесаревич, напротив, делал речь свою предельно отчетливой, чтоб ему не могли приписать того, чего он не думал говорить.

– Вы завидуете мне, ваше высочество? – спросил Ушаков и в то же время подумал про себя, что если слухи, сообщенные ему, верны, то, пожалуй, он действительно много счастливее цесаревича.

– Да, сударь, и зависть моя беспредельна, – ответил Павел, и горячий блеск появился в его глазах.

Отстраненный матерью от всякой живой деятельности, цесаревич с разрешения Екатерины командовал двумя тысячами солдат. Но никто не мог догадаться, какой беспредельной и опьяняющей была его фантазия. Чем старше он становился, тем более жгучей становилась его жажда побед и славы. Он мнил себя Цезарем, Александром Македонским, Карлом Великим. Но пока он тешил себя, жизнь уходила. Ему было уже за сорок, а миг славы и величия не наступал. Тогда ему становилось страшно до бешенства, и он завидовал тем, кто был свободен и уже шел к победам.

– Ваше высочество, для каждого приходит его час, час наибольшей удачи. Для меня он пришел не слишком рано и более принадлежит отечеству, чем мне.

Цесаревич улыбнулся одними глазами. Он прислушивался к тому, не стоит ли кто третий поблизости. Он знал, что каждое его слово ловят чужие уши. Хотел ли адмирал своим упоминанием о поздних своих успехах сказать, что у цесаревича еще есть время для надежд, Павел не мог угадать. Если это был фаворит его матери и, следовательно, его враг, то надо было быть осторожным. Если же адмирал подошел к нему открыто и искренне, не боясь себя скомпрометировать, осторожность была еще более необходима. Цесаревич знал по опыту, что всякий его доброжелатель рано или поздно исчезал с его горизонта.

– Признателен, сударь, за добрые сантименты ваши, – сказал Павел и поспешно чуть коснулся обшлага адмирала, словно боялся оставить на нем след, по которому можно было бы уличить его в чем-то недозволенном. Он уже жалел, что употребил такое выражение, как «добрые сантименты», потому что слово «добрый» могло намекать на особое расположение, чего не следовало делать.

Ушаков поклонился и отступил на три шага, как полагалось при прощании с высокими лицами.

Играла музыка. Несколько красивых и юных пар танцевали менуэт, танец, знакомый немногим, требовавший большой грации и изящества. Остальные гости не принимали в нем участия и могли любоваться ловкостью отобранных и натренированных танцоров.

Барятинский, глядя на танцующих, тихо сказал Ушакову:

– Сколь любезна юность! И сколь прискорбно, что она прошла... Я бы отдал все, чтоб обрести ее вновь. – Он тронул Ушакова за локоть, что на этот раз несколько не задело адмирала. В голосе старого гофмаршала слышалась искренняя печаль о том, что жизнь ушла и все ее радости никогда не вернуться вновь.

Адмирал следил за молодыми лицами с их свежестью, блеском глаз и, странно, не испытывал зависти. Он вспомнил себя мичманом, свои неопределенные надежды, беспричинно радостное ощущение жизни и то, как он плохо тогда понимал эту жизнь.

Вернуть эту неясную, заполненную одними предчувствиями пору он не хотел. То, чем он обладал сейчас, он не променял бы и на юность.

– Государыня хочет вас видеть, Федор Федорович, – раздался за ними голос Попова.

Через широко распахнутые двери, в сопровождении фрейлин и царедворцев, императрица уже выходила из внутренних покоев в зал. Одета в расшитый русский сарафан и телогрею с откидными рукавами, она медленно шла по ковру. Узкие модные туфли, вероятно, жали ей ногу, и Екатерина ступала с неловкой осторожностью, чуть кривя каблуками. За нею шли Зубов, Салтыков, Нарышкин и много других людей, которых Ушаков не знал.

Он смотрел на императрицу. Ее сарафан, телогрея и блестящий кокошник казались ему такой же бутафорией, как раскрашенные камни и зеркальные гроты.

Екатерина приблизилась к Ушакову и протянула ему для поцелуя руку.

– Говорят, вы любите и знаете музыку? – спросила она.

– Я немного играю на флейте, ваше величество.

– Так пойдемте со мной. Сейчас будет опера, и мне понадобится ваша помощь.

Екатерина взяла адмирала за руку – не за кисть, а за обшлаг, как взяла бы мать сына, не желая отпустить от себя, – но этот жест почему-то показался Ушакову неестественным и излишним.

– Я открою вам один секрет, – близко склонившись к напудренной голове адмирала, прошептала Екатерина, когда Ушаков подвел ее к удобному креслу с высокой спинкой, и указала глазами на соседний стул. – Я никогда ничего не разумела в музыке. Но я должна поощрять равно все искусства. Таково положение государей, кои обязаны все знать и все оценивать.

Голубые глаза Екатерины лукаво глядели в лицо адмирала.

– Я скрываю, что ничего не понимаю, – продолжала она, – и потихоньку пользуюсь умом чужим. А потому, когда надо подать знак к аплодисментам, поднесите к лицу платок. Тогда я буду твердо знать, что музыка прекрасна.

Высокая грудь императрицы заколыхалась от тихого смеха, открытая шея покраснела, стала почти темной. Вторя смеху Екатерины, засмеялся граф Зубов, стоявший за ее креслом, засмеялись севшие рядом, по другую руку ее, Бярятинский и Салтыков.

– Я ведь не шучу, я совсем глуха к сему искусству, – сказала снова Екатерина, мельком взглянув на серьезное лицо Ушакова.

В этом, видимо, и заключалась роль, предназначенная адмиралу на сегодня. Ему оказывали милостивое внимание, подчеркивая это внимание шутливой откровенностью и готовностью отдать свой слух под его опеку.

– Боюсь показать себя несведущим, ваше величество, – произнес Ушаков.

Императрица в знак протеста слегка подняла руку.

– О нет, я вас знаю! Приготовьте платок и слушайте. Здесь в интермедию ворвалось непредвиденное обстоятельство.

Ушаков сунул руку за обшлаг, чтобы извлечь платок и быть наготове. Увы, платка за обшлагом не оказалось. Вероятно, он забыл его в шубе.

Адмирал обернулся к Екатерине, продолжавшей наблюдать за ним. Он растерялся, не зная, как выйти из затруднения. Императрица догадалась и, как опытный актер, использовала даже эту непредвиденную случайность. Она приложила палец к губам, затем быстрым и ласковым движением вложила в руку Ушакова свой кружевной платок. О маленькой оплошности адмирала должны были знать только он и она. Случайность лишь дала Екатерине повод придать своей доверенности к адмиралу оттенок дружеской интимности.

Давали оперу «Диана и Эндимион».

Едва оркестр доиграл увертюру, занавес раздвинулся, и на небольшой сцене запорхали зефиры с прозрачными крылышками из кисеи, украшенной блестками. На толстых золотых шнурах с потолка стал спускаться Амур в голубых панталонах и розовом атласном кафтане. Он держал лук и, боясь задеть за декорации, усиленно поджимал ногу.

Ушаков вдруг ощутил к актеру нечто вроде жалости и сочувствия. Вот и сам он, адмирал Черноморского флота, тоже принужден был играть здесь какую-то несвойственную ему роль. И кто знает, не придется ли ему вот так же поджимать ногу из-за боязни совершить какую-нибудь новую оплошность?

Он оглянулся на императрицу.

«Пора?» – тотчас спросила она взглядом и, поняв, в чем дело, сморщила рот.

«Мы оба люди весьма трезвые, – так прочел Ушаков в этой усмешке, – но пусть те, кому это приятно, считают человека в голубых панталонах богом любви».

Во всякое другое время Ушаков с удовольствием слушал бы музыку и смотрел танцы. Однако поручение, которое вменила ему в обязанность императрица, ему мешало. Его сделали участником маленькой и как будто безвредной лжи, но ему было неприятно, ибо за маленькой ложью он смутно ощущал большую и далеко не безвредную ложь. Его рука с платком становилась чугуновой.

На сцену между тем вышла пухлая Диана, с ямочками на локтях, в белой короткой тунике. Когда она запела, серебряный полумесяц, прикрепленный к ее волосам, качнулся и задрожал мелкой дрожью.

В опере не было ни основной темы, ни сложных звучаний. Подобно легким зефирам, осыпанным серебристыми блестками, фантазия творца ее переносилась от одного ощущения к другому, не задерживаясь ни на одном. Это была музыка для людей, которые хотели не задумываться, а веселиться. Тщетно было бы искать в ней больших страстей или крупных мыслей.

Беспечно и звонко звучали рога охотниц. В музыке слышались топот погони, бег преследуемой лани. Резковатый голос Дианы прославлял любовь, за которой не было ни сильного чувства, ни искреннего волнения.

Адмирал слушал оперу, но думал о другом. Он вспоминал слова Непенина, сказанные на прощанье перед отъездом Ушакова из Севастополя.

Непенин был в тот день в каком-то странном настроении. Он не всегда отвечал на вопросы и то и дело протирал свои очки.

– Не обольщайся, друг мой, вниманием сановных лиц, – сказал он адмиралу в самую последнюю минуту – Не думаю, чтобы ты полюбился там, при дворе. Слишком не к масти козырь. А посему и не ожидай от сей поездки ничего чрезмерного.

Прав или не прав, был Непенин – судить об этом казалось преждевременным. И все же Ушаков должен был признать, что он чувствовал себя сейчас в этом дворцовом зале отнюдь не радостно и не свободно. Все было здесь чуждым, даже та хитроумная милостивая манера, с которой императрица выражала ему свое внимание.

Он искоса взглянул на лицо Екатерины, затем на лица сидевших и стоявших близ нее придворных, увидел на каждом из них рассеянно-скупающее выражение, убеждавшее в том, что императрица и ее приближенные не слушают музыку.

«Да ведь они все равно ничего не понимают!» – вдруг подумал адмирал.

И нужное ему спокойствие пришло тотчас же за этой мыслью.

Императрица вздохнула и зашевелилась в своем кресле. По этому вздоху Ушаков понял, что слишком затянул момент, когда следовало подать знак к общим восторгам.

Тогда он, не слушая музыки, столь же решительно, как у себя на корабле, встряхнул и поднес к лицу платок.

Екатерина выпрямилась и отчетливо ударила в ладони.

Тотчас же сотни людей, как по команде, отозвались ей тем же. Было похоже, что под сводами дворца рушатся и раскалываются какие-то невидимые стеклянные стены.

## 6

Среди резных столиков, золоченых этажерок и белого штофа с сиреневыми розами маленькая, почти юношеская фигура графа Зубова казалась лишь одним из украшений его большого кабинета.

Он лежал в кресле, положив ноги на вызолоченный стульчик. На нем был кафтан из бледно-лилового бархата, белый камзол и шелковые чулки. Один из башмаков его висел лишь на кончике пальцев, и граф забавлялся тем, что покачивал его, стараясь не уронить.

На ковре, у его кресла, катались, вцепившись друг другу в волосы, толстый обрюзгший карлик и мальчик-арап. Карлик пронзительно, как свисток, взвизгивал и пыхтел. Арап, в бешенстве сверкая белками, старался укунить его за щеку. Зубов смеялся и время от времени кидал в них то книгой, то яблоками из стоявшей на столе вазы.

– Его превосходительство контр-адмирал Ушаков, – доложил камердинер. Зубов кивнул головой.

– Убери, – указал он на карлика и арапа.

Когда адмирал входил в кабинет, два лакея вынесли визжащий, так и не расцепившийся комок, из которого на мгновение показались две всклокоченные головы.

Зубов хотел было встать навстречу гостю, но башмак как раз в это время упал с его ноги.

– Простите, ваше превосходительство, как видите, я сейчас хром, – сказал он ласковым грудным голосом и посмотрел на адмирала широко открытыми красивыми глазами, какими смотрят женщины, когда хотят нравиться.

– К вашим услугам, ваше превосходительство, – отвечал адмирал каменным тоном солдата.

Несмотря на ласковые слова, прием ему не понравился, и главным образом оттого, что Зубов так и остался лежать перед ним в одном башмаке.

Однако Зубов действительно хотел быть ласковым. Он отозвался с большой похвалой об уме и способностях адмирала. Заметил, что всегда ценил Ушакова, даже когда тот не мог об этом подозревать.

Получалось, что Зубов чуть ли не первый открыл адмирала, как некогда Колумб открыл Америку.

Та самодовольная непринужденность, с которой распространялся об уме Ушакова двадцатипятилетний генерал, не могла быть приятной. Но в эту минуту Ушакова занимал вопрос более важный. Вчера Попов шепнул ему, что есть предположение назначить Зубова наместником Новороссии. Будет ли он одновременно начальником флота, Попов не знал. Но Ушаков уже не сомневался, что самые худшие предположения его осуществляются.

С нетерпением и досадой слушал он похвалы своему уму, глядя упрямыми серыми глазами не в лицо фавориту, а на корешок лежавшей на столе книги.

– Не хотите ли полюбопытствовать, ваше превосходительство? – спросил Зубов, проследив его взгляд и протягивая книгу.

Это был «Дух законов» Монтескье.

– Разум сего мужа мало кем превзойден, – сказал Зубов, и лицо его стало мечтательно-задумчивым. Эта мечтательность всегда появлялась, когда речь заходила о возвышенных предметах. Он коснулся слегка взглядов знаменитого философа, отметив, что Монтескье сочетал великий разум с великим сердцем и твердость духа с милосердием.

«Все это, конечно, вступление, – думал Ушаков. – И скоро ли этот купидон дойдет до дела, неизвестно. Как все неумные хитрецы, он без всякой надобности будет делать круги, прежде чем подойти к цели вплотную. Ну что ж, начнем с Монтескье».

И адмирал очень вольно и непринужденно продолжил похвалы знаменитому философу, начатые Зубовым. Таких похвал можно было составить сотни, и все они могли относиться к кому угодно.

Зубов был доволен беседой. Ему говорили, что победитель турок очень строптив. Оказалось, однако, что он превосходно умеет вести приятный разговор, высказывая никого не задевающие общие суждения. Сам Зубов не любил никакой излишней определенности мысли, если не был твердо убежден, что определенность эта исходит от императрицы.

С тех пор как из рядового гвардейского офицера он стал едва ли не вторым лицом в империи, Зубов никогда не знал покоя, и все силы его были направлены на то, чтоб не выпустить из рук своей головокружительной удачи. Вряд ли существовал на свете столь пламенный влюбленный, который бы с такой мучительной тревогой наблюдал за малейшим изменением лица возлюбленной, с какой следил Зубов за самой ничтожной тенью болезни или усталости в чертах императрицы. Самое легкое ее недомогание заставляло его холодеть от страха. Он знал, что смерть Екатерины будет его гибелью.

Не меньше смерти покровительницы он боялся соперников. Ревность его была подозрительной, мстительной и никого не щадила. Как всякая ревность, она была бессознательным ощущением собственной неполноценности. Ему не казалось страшным, что могут найтись люди красивее, его страшили умники. Красивых фаворитов было много, и все они исчезали, поблистав год или два, а Потемкин двадцать лет держал в руках волю и разум императрицы.

Платон Зубов не был подготовлен к такой роли. До своего «случая» он жил, как большинство гвардейцев: кутил, играл в карты и ездил к женщинам. Став в одни сутки государственным человеком, Зубов сначала растерялся. Надо было не только думать, но и составить какое-то мнение о вещах, о которых раньше он не имел никакого понятия. Его покровитель граф Салтыков пришел ему на помощь, доказав с полной очевидностью, что если простому офицеру нет никакой надобности в собственных мыслях, то человеку высокого положения иметь свои мысли даже опасно.

Сам Салтыков жил и делал карьеру при двух императрицах и одном императоре. Он не только уцелел, но от каждого из них получал всевозможные милости и награды. И все это потому, что он не только не высказывал ни разу в жизни своих мыслей, но никогда их не имел. Однако Зубов поверил ему не сразу. Тогда еще был жив Потемкин.

– Да, но он не переживет трех императоров, – сказал Салтыков, очень ловко засовывая в нос табак большим пальцем, похожим на крепкий сучок.

– Он может пережить мою фортуна, – возразил Зубов.

Салтыков оглядел его с ног до головы и понюхал свою верхнюю губу. В его расчеты не входило, чтобы Потемкин пережил фортуна «крестника». Он подумал, вытер всегда влажный нос батистовым платком и снова оглядел Зубова. Пожалуй, действительно мало красивого профиля и стройных ног для того, чтоб счастье было длительным. Вслух он этого, впрочем, не сказал.

Тогда Зубов обратился к философам. Это было порождено надеждой, что они помогут ему наилучшим образом удержать свое положение. Но так как он почти ничего не читал раньше, то Дидро и Монтескье скоро привели его в полное изнеможение. Философы своего ума никому не передавали, и Зубов понемногу стал презирать все умы вообще.

– Течение времени изменчиво, – сказал Салтыков, и снова был прав.

Зубов страшился напрасно. Он попал как раз в свой час. Время, когда императрица заигрывала с философами, прошло. Подавленная страхом перед французской революцией, она стала бояться каждой новой мысли, как бы та ни была скромна. А так как страх порождает ненависть, то она возненавидела всех, кто брался за перо. Эти люди, по ее мнению, приносили государям больше зла, чем война.

Поэтому Зубов в присутствии Ушакова весьма вольно обращался с Монтескье и, похвалив его, тотчас отметил главный недостаток:

– Как ни глубока мудрость сего мужа, – сказал он, – простое прекрасное сердце всего превыше. – Он улыбнулся, показывая этой улыбкой, что подозревает такое сердце у адмирала.

– Вы правы, ваше сиятельство, простота есть высшая мудрость, – ответил адмирал. Но хотя он действительно так думал, ему почему-то стало мучительно стыдно за свои слова.

Зубов кивнул головой с явной благосклонностью.

– Мне особенно приятно узнать мысли ваши, – продолжал он, помолчав, – ибо я всегда любил флот и попечение о нем почитал одной из главнейших забот наших. Не только ваши виктории, но и все, что было на море, я ношу в моей памяти.

Как будто желая окончательно уверить в этом собеседника, Зубов изложил свои мысли по поводу действий французского адмирала Турвилля в сражении с англоголландским флотом у мыса Ла-Гог в 1692 году, причем Зубов строго осудил Турвилля за ошибки, вследствие которых английский адмирал Руссель разбил французский флот и уничтожил много его кораблей. При этом Зубов небрежно расправлял свои кружевные манжеты и всем своим видом давал понять, что будь он на месте адмирала Турвилля, мировая история пошла бы более верным путем.

Подобно многим боевым морякам, Ушаков особенно не любил тех, кто достигал победы, водя пальцем по географическим картам. Еле сдерживаясь, он сказал:

– Адмирал Турвилль не столь виновен, сколь может казаться, ибо обстоятельства весьма мало ему благоприятствовали. Состояние кораблей его...

– Да, именно о состоянии кораблей, но наших, а не французских, и хотел я поговорить с вами, – прервал Зубов и придвинул к себе небольшую хрустальную вазу-Флот нуждается в особых попечениях, ибо ему предстоит многое совершить.

Слегка закусив белыми зубами ноготь на мизинце, Зубов сказал:

– Дабы устранить все, что препятствует успехам флота, я бы хотел знать ваши предположения. По желанию нашей августейшей монархини, отныне я буду руководить Черноморским флотом.

Как ни был подготовлен к этому адмирал, он не сразу мог произнести обязательные слова:

– Я рад услышать это, ваше сиятельство.

Зубов заметил, что пауза была слишком длинной, приметил и то, что адмирал был явно подавлен, но не знал, как расценить эту подавленность.

– Я вас слушаю, почтеннейший Федор Федорович, – еще раз напомнил он и опустил руку в вазу. Сквозь тонкий хрусталь вазы просвечивало какое-то странное мерцание, словно в ней горел белый огонь.

Голосом тем более тихим, чем больше закипала в нем кровь, Ушаков заговорил о нуждах русского флота: штаты недостаточны, их следует увеличить, а при постройке новых кораблей надо иметь в виду, что малая скорость хода часто мешала завершить победу, ибо турки только потому могли бежать и скрыться от преследования.

Зубов вынул руку из вазы и раскрыл ладонь. На ней сверкнула целая горсть бриллиантов.

Ушаков запнулся. Игра с драгоценными камнями была явно некстати.

– Я слушаю, слушаю, – повторил Зубов, пошевеливая пальцами и глядя, как драгоценные камни, сверкая, падают обратно в вазу.

Адмирал продолжал свое повествование о неурядицах флота, невольно прерывая себя, как только фаворит, набрав камней в ладонь, начинал ссыпать их обратно.

Зубов соглашался с каждым его словом, обещал все устроить с величайшей щедростью, прислать новых инженеров, добиться нужных сумм и увеличить штаты, чтобы боевая мощь флота была достойна великой Российской империи, чего не наблюдалось при князе Потемкине.

– Я бы просил вас составить подробную записку о том, что вы мне сказали. Я доложу государыне и уверен, что все неурядицы усилиями нашими будут исправлены, – мягко и задумчиво сказал Зубов.

«Ничего ты не исполнишь, герой алькова, ничего, – думал Ушаков. – И не проведешь меня своей хитростью, хотя она и заменяет у глупых людей ум. И чего ты хлопочешь, борясь с покойником? Ведь живой гальюнщик всегда сильнее мертвого императора. И борьба твоя – борьба глупая. И ведешь ты ее от превеликого страха, уже не отличая настоящих врагов от пустого места. Когда же ты скажешь наконец, что тебе от меня нужно?»

Один из камней, которыми забавлялся Зубов, упал на ковер. Он сверкал там, точно чей-то насмешливый глаз.

Зубов мельком взглянул на Ушакова.

Но ничто не могло заставить адмирала нагнуться за случайно оброненным камнем. Камень так и остался лежать на ковре, сияя оттуда целым пучком острых, как иголки, лучей.

Ушаков и не заметил, как очутилась в руках Зубова какая-то тетрадь. Крупным канцелярским почерком со множеством хвостиков и крючков на ней было написано: «Общие политические соображения».

Эта надпись, вероятно, не принадлежала графу Зубову, но буквы, похожие на цепляющиеся лапки, сразу настроили адмирала враждебно к «Общим политическим рассуждениям». «Новый прожект, – иронически подумал адмирал. – Нет такого мозгляка, который не писал бы прожектов».

А Зубов, очевидно считая адмирала достаточно подготовленным оказанным ему вниманием, еще более дружелюбно заметил:

– России предстоят великие свершения. Европа дряхлеет, а мы молоды и полны неисчерпанных сил.

Очень довольный своей закругленной фразой, он сладко зевнул и потянулся, словно купаясь в волнах света, лившегося из высоких окон. Потом, так и не открывая тетради, стал излагать будущее Российской империи. Оказалось, что в самое ближайшее время надлежит совершить наступление в направлении всех четырех стран света.

В первое мгновение Ушаков был так изумлен, что не понял, шутит с ним этот человек или говорит серьезно.

Нет, Зубов был серьезен, и проект, видимо, очень нравился ему самому. Он бросил тетрадь и перешел к способам осуществления проекта, причем так удачно расставил армии, привел их в движение и завоевал все страны света, что ничего больше не оставалось, как выразить восхищение.

Но тут Зубов неожиданно усмехнулся и легкомысленно добавил:

– Впрочем, многое не так важно совершить, как обдумать. Вы должны согласиться, ваше превосходительство, что иной замысел стоит исполнения.

И он поглядел на Ушакова широко раскрытыми глазами, в которых отражалось невинное самодовольство.

Адмирал понял, что для осуществления «прожекта» Зубова не нужно ни солдат, ни матросов и что никаких завоеваний у него и в помышлении нет. «Прожект» должен был потешить воображение старой императрицы и показать, что замыслы Платона Зубова куда смелей и дерзновенней замыслов Григория Потемкина. А что касалось адмирала Ушакова, то ему предлагалось принять деятельное участие в фарсе, который будет разыгрываться для императрицы. А может быть, и не в одном фарсе, а во множестве других. Для Ушакова настала минута, которая решала его судьбу. Если он отдаст себя на служение этому придворному пройдохе, поможет Зубову сделать хоть что-либо помимо альковных побед, тот, несомненно, откроет перед Ушаковым все двери. Если же он откажется, Зубов найдет другого. Сейчас адмирал должен ответить на предложенный торг: да или нет.

Зубов постукивал пальцами по своей тетради. Он не сомневался, что человек, обладающий разумом, ответит: согласен.

– Ну, что же вы скажете, ваше превосходительство?

Сразу сжигая свои корабли, адмирал сказал:

– Время наше мало благоприятствует столь великим предприятиям, ваше сиятельство, и я не дерзаю высказать свое суждение.

Граф Зубов улыбнулся с видом сожаления к человеку, который лишен самого элементарного понимания, жизни. Тот, кто отказывается быть полезным фавориту, мгновенно переставал для него существовать.

Адмирал встал, не дожидаясь, пока Зубов его отпустит. Он даже не мог заставить себя спросить о порученной ему записке. Вероятно, она была больше не нужна, так как Зубов о ней не вспомнил.

## 7

...Адмирал дал себе четыре дня, в течение которых он не должен был думать ни о чем, что касалось Зубова. Если в это время никаких событий не произойдет, можно будет заключить, что все кончено. Ушаков хорошо понимал, что в его столкновении с фаворитом императрица будет на стороне Зубова. Но адмиралу трудно, невозможно было утратить надежду на высшую справедливость. И вот он назначил себе четыре дня срока.

Время тянулось, как нагруженный камнем воз. Чтоб как-нибудь его заполнить, приходилось аккомпанировать по слуху Марфиньке, когда она пела, играть в шахматы с Лизон или давать советы старшей дочери Аргамакова по поводу хранения различной провизии. И девушки находили, что адмирал стал очень добрым.

Он превосходно знал, что в таком положении следует ездить по высоким покровителям, узнавать, просить. Так делали все. Ушаков слышал, что сановные люди вовремя дарили табакерки царским лакеям. Но он сидел в своем добровольном карантине и ждал в упорном и упрямом бездействии.

Но если сам Ушаков добросовестно выполнял взятое на себя обязательство не думать о своем положении, то он скоро стал замечать, что об этом думают другие. Тишина вокруг него становилась все более глубокой. Как-то сразу прекратились визиты, исчезли лакеи, привозившие приглашения, и на беззаботном лице Аргамакова стало появляться выражение затаенного недоумения.

Однажды вечером он вдруг сказал:

– Все надежды наши суть дым и никакого бытия не имеют.

Может быть, это была обычная масонская тирада, но адмиралу показалось, что она в какой-то степени относится к нему. Вероятно, в городе уже знали, что граф Зубов недоволен командующим севастопольской эскадрой.

К хозяйке приехала с визитом приятельница, побыла около получаса и стала собираться домой. Проводив ее, жена Аргамакова долго завязывала и никак не могла завязать ленты чепчика. Ушаков подумал, что она тоже все знала. И руки у хозяйки дрожали, вероятно, потому, что она боялась, как бы неудовольствие государыни не распространилось и на ее семейство.

Этого адмирал не мог вынести. Если люди стали бояться общения с ним, он пойдет им навстречу. Завтра же он переедет на постоянный двор.

На приеме у Екатерины ему так и не удалось понять вполне, какой же дух витает над Петербургом. Императрица умела молчать, как никто, и ни один человек не знал, что она действительно думает. Насколько велик был ее страх перед тем, что совершалось в революционной Франции, также оставалось неизвестным. Она послала в ссылку Радищева, но ограничится ли все этим или же последуют другие события, Ушаков не мог угадать из своих встреч с нею.

Ушаков, разумеется, не ожидал ни ссылки, ни разжалования за свое поведение по отношению к фавориту. Но если его постигла бы хоть самая малая опала или даже простое неудовольствие со стороны императрицы, его долг – освободить от себя Аргамакова. У того достаточно своих тревог, чтоб прибавлять к ним новые.

Однако Аргамаков с утра уехал в типографию, а покидать дом в отсутствие хозяина было неудобно. Чтоб не тратить попусту времени, адмирал решил пока съездить к афеисту, с которым познакомил его Аргамаков. Помимо философских упражнений, тот писал ученые труды по артиллерии, что очень заинтересовало адмирала.

Аргамаков с первого же дня предоставил в распоряжение гостя лошадей и экипаж, но Ушаков стеснялся пользоваться ими. Он кликнул своего старого слугу и тезку Федора, чтоб послать его за извозчицким экипажем. Однако вместо Федора явился денщик Степан и дели-

катно доложил, что Федор Никитич «не в себе». Это значило, что старик не устоял против соблазнов столицы и был доставлен замертво из ближайшего трактира.

– Тогда сам ступай, – приказал Ушаков, отсчитав денщику деньги. – Только не вздумай карету нанять, понял? Сани возьми.

Адмирал любил говорить, что деньги, когда они есть, рабы человека, а когда их нет, он сам их раб. Поэтому жил он на строгом бюджете, на себя тратил очень мало и редко давал частным лицам в долг. За это многие считали его скупым.

Денщик выполнил его приказание в точности и нанял сани. День выдался пасмурный, под стать настроению адмирала. В санях его трясло и подбрасывало на ухабах, как на качелях. Вдобавок последовала неудача: ученого артиллериста и философа Ушаков не застал дома, почему-то обиделся на него за это и даже забыл оставить записку.

Унылая извозчичья кляча потащила адмирала назад, к дому Аргамакова. Ушаков заставил себя осматривать улицы и примечать то новое, что появилось в его отсутствие. Но порой он забывал об этом и возвращался вновь к своим невеселым мыслям. Так доехал он до какого-то дома, у подъезда которого, словно деревянные черные идолы, стояли два арапа. Сытыми, равнодушными глазами они глядели друг на друга и на проезжающих.

Вся улица, как на торгу, была занята каретами. Адмиралу никогда не приходилось видеть такого количества прекрасных лошадей всех мастей и пород. Тут были вороные кони с длинными, как шлейфы, седыми хвостами и гривами, украшенные оранжевыми султанами, кони рыжие, с тонкими ногами, в черных чулках и золоченой сбруе, гнедые – в пунцовых пополах с золотой бахромой. Сами кареты среди серого тусклого дня мерцали золотом и гербами, украшенными драгоценными камнями.

Ушаков невольно оглядел свои сани, которые пробирались среди карет, как оборванец сквозь толпу царедворцев. «Пожалуй, – думал адмирал, – в этом мире было куда важней иметь двух арапов у подъезда, чем несколько побед над врагом».

В это время за плечом Ушакова послышался конский храп, и сразу несколько дюжих плоток закричало:

– Берегись! Берегись!

Адмирала нагонял верховой. Он, не отрываясь, трубил в рожок. Серый в яблоках конь пронесся мимо, кося на адмирала розовым глазом. За верховым бежали скороходы в коротких кафтанах и высоких остроконечных шапках. За скороходами, запряженные цугом, серые в яблоках кони везли карету, похожую на маленькую китайскую пагоду, поставленную на высокие посеребренные колеса. От быстрого движения спицы их сливались в блестящие диски.

Окно кареты было опущено. И когда она поравнялась с санями адмирала, в овальном вырезе показалась окутанная огромным собольим воротником голова с острым носом и приподнятой верхней губой. Ушаков узнал графа Салтыкова. Граф взглянул на адмирала пустым, выцветшим взглядом. Потом голова его чуть дернулась назад, как бы от толчка кареты, но адмирал понял, что сановник узнал его. Быстрым движением Салтыков поднес к носу сложенные в щепоть пальцы и понюхал их.

Это произошло в одно мгновение, и адмиралу стало ясно, что все уже решено и что ждать больше нечего. Салтыков, живший всегда в сфере полуслов и двусмысленностей, только в редких случаях проявлял полную и решительную определенность: он тотчас же забывал тех, от кого уходило придворное счастье.

– Пошел! – крикнул Ушаков своему вознице.

Он был поражен, но не тем, что произошло и что стало ясно с предельной грубостью, а тем, что сам в эту минуту он ощутил не гнев, не обиду и не жгучую досаду, а как бы долгожданное освобождение. Словно таскал он на себе ярмо с кирпичами, как каменщик на стройке, и вот сбросил наконец свою ношу.

Недолог, однако же, был срок его «блистанья». Значит, он выдан с головой фавориту императрицы. Да, поистине непросительным безумием было надеяться на какую-то высшую справедливость. Привыкнув жить там, в пустынном крае, среди верфей, барачных корпусов, кораблей, в трудах и сражениях, он только тешил себя, что великий и мудрый монарх следит за его успехами и пренебрегает всего ценит боевые заслуги. Здесь счет оказался другим. И потому, может быть, сейчас он не ощущал ни гнева, ни сожаления о том, что случилось.

Да и чего, собственно, он хотел, на что надеялся? Самое главное, для чего он жил, – это флот, но флот уже был отдан Зубову. К числу противников Ушакова прибавился еще один – всесильный временщик. Прежние враги Ушакова, адмиралы Мордвинов и Войнович, чтителю своего метода и раз написанный на бумаге закон. У Зубова не было ни метода, ни закона. Трудно решить, что хуже: прошлое с его методичностью или же настоящее, в котором нет ничего, кроме грубой, наглой корысти и дерзкой самоуверенной глупости. Недаром кто-то при дворе назвал Зубова «дуралеюшкой». Теперь, когда надежда на поддержку императрицы растаяла как дым, снова предстояла неравная борьба. И Ушаков знал это, когда одним ударом решил свою судьбу в кабинете Зубова. Зачем же было ставить такие забавные сроки? Четыре дня для испытания абсолютной справедливости! Много это или мало? Впрочем, и так потрачено зря достаточно времени. Пора в Севастополь, к своим кораблям!

Адмирал был совершенно спокоен, когда вернулся домой и проходил через гостиную к себе в комнату. Попорченные временем зеркала давали не совсем ясные отражения, словно в них двигались тени. Ушаков случайно приблизился к одному из зеркал и машинально взглянул в туманное зеркало. Как видно, снимая треуголку, он растрепал свою прическу. Взбитые волосы над его лбом совершенно ясно напоминали тупей, воздвигнутый для замечательного праздника парикмахером-французом. Он вспомнил, как ему было стыдно за этот тупей.

Весь праздник пронесся в его памяти. То, что он считал признанием, было по существу позором. Ему льстили, он верил, как младенец, ему лгали, он принимал ложь за правду, из него хотели сделать наивного глупца, и он шел этому навстречу.

В такие моменты слепой, душевной ярости Ушакову надо было двигаться, что-то делать с собой. Как был, в одном кафтане, он вышел в сад. В высоких сугробах стояли рядами липы. Птичьи следы простегали ровный наст путанными стежками. Тихо и спокойно падал редкий снег.

Каждое утро, тяготясь ожиданием, адмирал ходил сюда разгрести снег. Оставленная им вчера лопата еще торчала в пушистом сугробе. Ушаков задел рукавом за низко свесившуюся ветку и вдруг очень ясно вспомнил, как императрица вела его за собой, придерживая за обшлаг: она лгала, как и все.

Адмирал схватил лопату. Чистые белые глыбы, похожие на свежий сахар, летели одна за другой и рассыпались с тупым хрустом. Приятно заныли руки, плечи, спина. Ушаков подхватил новый ком снега с излишней резкостью: раздался треск, и лопата переломилась.

Адмирал бросил оставшуюся в его руках ручку и обшлагом вытер лоб. Ему становилось легче. Зыбкий холодок пробежал по его лицу. Он услышал за спиной знакомые похрустывающие шаги и, обернувшись, увидел Аргамакова. Тот был явно взволнован и жесточенно тер свой подбородок.

– Вы слышали, Федор Федорович, прискорбную новость? Король шведский Густав убит заговорщиками.

Ушаков потом сам не понимал, почему он отнесся к этому известию совершенно равнодушно. Потому ли, что не успел его сразу понять и установить связь этого убийства с другими политическими событиями или был в ту минуту очень далек от шведских дел и занят своими, но он спросил холодно и без малейшего оживления:

– Кто же поднял на короля руку? Якобинцы?

Уже было привычным во всех несчастьях, особенно с коронованными особами, винить якобинцев. И сам адмирал в эту минуту забыл, что царей не так уж редко убивали самые ярые приверженцы абсолютной монархии, как это было с императором Петром III, убитым по приказанию жены своей, государыни Екатерины.

– Какие там якобинцы! – воскликнул Аргамаков. – Его убил выстрелом в спину оскорбленный им Анкарстрем, а во главе заговора стояли генерал Пехлин и графы Роббинг и Горн. Это убийство может иметь и для нас весьма чувствительные последствия.

– А для нас почему?

– Да так, люди, радеющие о просвещении, отвечают за все, что делается в мире, – неопределенно ответил Аргамаков. – Но я вижу, вы притомились.

– Да нет, ничего. Я искал вас утром, Диомид Михайлович, – сказал адмирал, решительно приступая к неприятному объяснению.

Его раскрасневшееся лицо, жесткий тон и выражение недоброго упрямства в глазах смутили Аргамакова.

– Я хотел поблагодарить вас за ваше гостеприимство, – продолжал Ушаков.

– Вы покидаете вертоград сей? – тревожно спросил Аргамаков, поднимая одну бровь.

Ушаков не хотел лгать и придумывать благовидные уловки, да и не мог бы сейчас ничего придумать. Занятый собой, он не заметил новой незнакомой ему складки страдания у большого улыбающегося рта Аргамакова. Теперь эту улыбку словно стерла чья-то рука.

– Государыня, по-видимому, недовольна мною, – особенно четко и ясно произнес адмирал, словно винил в этом не императрицу, не себя, а Аргамакова.

Но Аргамаков, несмотря на собственные огорчения, с обычным вниманием к чужим неудачам вежливо сказал:

– Весьма прискорбно, но я уверен, что гнев государыни смягчится и, может быть...

Не скажи он этого «может быть», очень вероятно, что адмирал отнесся бы спокойно к его словам.

– А потому, – следуя только своей мысли и уже совсем не щадя Аргамакова, сказал Ушаков, – я не считаю возможным оставаться в вашем доме.

Аргамаков невесело усмехнулся, снег слабо хрустнул под его мягкими сапогами.

– Предки мои, – не теряя самообладания, сказал он, – предки мои почитали имя свое... Ежели я и недостойн их чести, то все же не знаю, чем заслужил презрение ваше.

– Я не хочу подвергать вас неудовольствию великих персон.

Аргамаков потрянул париком, на который, как пух, уже осели снежинки. Из буклей его выпала шпилька.

– Сии персоны бессильны повредить духу моему, – сказал он с таким убеждением и твердостью, какие трудно было ожидать от этого веселого и, казалось, легкомысленного человека.

Ушаков должен был признать, что еще плохо знал хозяина, да и мог ли он похвалиться, что знал кого-нибудь лучше. Адмирал хотел было сказать, что, не имея возможности вредить духу, великие персоны могут вредить его земным воплощениям. Но он только пожал плечами и вдруг улыбнулся своей открытой, подкупающей улыбкой.

– Простите меня, Диомид Михайлович. Я часто бываю несправедлив. Прошу верить, что уважаю глубоко и предков ваших и наипаче вас самих.

– Пустяки! Пустяки, государь мой! – закричал искренне обрадованный Аргамаков. – Я сам виноват, не уразумел состояния души вашей. А что такое душа человека? Она есть арфа, коей не должно касаться рукою грубой.

Ушаков, не любивший беспорядка, взял под мышку обломки лопаты и, захватив крепкими зубами кончик рукавицы, стал стягивать ее со своей широкой ладони. Аргамаков обнял его одной рукой за плечи и, тихонько увлекая к дому, проговорил:

– Знаете, а я даже рад, что так случилось, ибо не вам обивать пороги дворцов. Пусть упражняются в этом другие.

## 8

Ушаков стал готовиться к отъезду. В Петербурге ему больше нечего было делать. Осталось только ждать повеления императрицы.

Адмирал ходил по лавкам и выбирал подарки для своей крестницы, а также для невестки и двух племянниц. Он хотел заехать в свое тамбовское имение и повидать брата.

Денщик, зная, что адмирал не любит, когда в дорогу навязано много узлов и кульков, старался втиснуть в чемодан как можно больше покупок. Он изо всей силы уминал шали, ленты и куски материй. Потом становился коленями на верхнюю крышку чемодана и, слегка припрыгивая на ней, говорил:

– Еще влезет, ежели постараться, ваше превосходительство. И эту вещичку, пожалуй, можно.

И он указал на кружевную, белую, как пена морская, шаль, купленную Ушаковым для крестницы.

Адмирал, так же как и его денщик, был уверен, что все втиснутое потом само расправится. Но перед этой шалью он в нерешительности остановился.

Своей семьи у него не было, и на крестной дочери Ушаков сосредоточил весь запас нежности, на какую был способен.

Когда-то служил с ним две кампании боцман, женатый на пленной турчанке. И у этого боцмана Ушаков крестил крохотную черненькую девочку одиннадцати дней от роду. Крестил и забыл о ней. Он был тогда лейтенантом, и подчиненные часто приглашали его в крестные отцы к своим детям. Ушаков относился к этому, как к простой формальности, дарил новорожденным подарки и присутствовал на крестинах, что почиталось родителями большой честью.

На этом обычно и кончались его заботы о своих крестниках. Но с дочерью боцмана вышло иначе.

Лет десять спустя, а может быть и больше, Ушаков встретил на одной из севастопольских пристаней маленькую нищенку. На невероятной смеси из разных языков она стала клянчить у него подачку. Ушаков хорошо понимал, какая страшная участь ожидала девочку на пристанях порта. Он стал расспрашивать, где же ее родители и зачем они позволяют ей бегать по городу в такой поздний час. Оказалось, что родители девочки умерли. Тогда Ушаков отвел ее к вдове своего шкипера. Варваре Мурзаковой. Там он, к своему удивлению, узнал, что приведенная им маленькая попрошайка и есть его крестница.

История ее была известна всему городу. Варвара сообщила Ушакову, что сам боцман умер от повальной болезни, посетившей Севастополь. Жена его долго нищенствовала и тоже умерла месяца два назад. Ушакову стало совестно, что он так формально отнесся к своим обязанностям крестного отца, тем более что речь шла о дочери храброго и честного человека, погибшего на стройке Севастополя и флота.

С тех пор Ушаков не жалел ни денег, ни усилий, чтоб дать девочке хорошее воспитание. У нее, как оказалось, было даже два имени: одно мусульманское, данное ей матерью-турчанкой, а другое православное, выбранное когда-то самим Ушаковым и сохранившееся в церковной записи. Имя, которое дала девочке мать, нравилось Ушакову больше, и, пока его воспитанница не вышла из детского возраста, он звал ее Алимэ. Но теперь она стала уже взрослой, и все окружающие употребляли при обращении к ней только ее настоящее имя Лиза.

Ушаков живо представил себе, как его крестница накинёт на свои черные густые волосы купленную им кружевную шаль и каким милым и радостным будет ее лицо.

– Нет, уж лучше ты в чемодан положи мой камзол, – сказал Ушаков денщику – Шаль-то помнется, чего доброго. А ведь хороша?

– Да уж одно слово – вещь, ваше превосходительство.

– И не так уж дорого, – заметил адмирал, хотя обычной решительности в его голосе при этом не было. Подарки он покупал в лавке у толстой, с тремя подбородками, француженки. Адмирал упорно торговался и переплатил только за эту шаль. Ему очень хотелось купить ее, а продувная и бывалая француженка хорошо поняла это и уперлась, как пушка, которую вкапывают в гору.

В дверь постучали, и слуга в волосяных лаптях доложил, что к его превосходительству прибыли гости.

Недоумевая, кто бы это мог быть, Ушаков прошел в библиотеку, где обычно проводил свободное время и принимал своих немногочисленных знакомых.

Там, небрежно листая книгу, сидел Попов. Он так согнулся, что среди волн белых кружев, раскинутых у него на груди, совсем тонул его угловатый профиль. При виде адмирала Попов тотчас поднялся и на своих длинных, как жерди, ногах шагнул ему навстречу. Крупный рубин сверкнул на его безымянном пальце. Прежде драгоценных камней Попов не носил. Он спросил вместо приветствия:

– Что вы наделали? Скажите.

Серые глаза Ушакова смотрели с незнакомой Попову насмешливой веселостью.

– Я не сумел подняться на Олимп, ибо у меня ступни медведя, – сказал он, улыбаясь. Этой улыбкой он как бы устанавливал дальнейший тон беседы и те границы, в которых ее следовало вести.

Попов сел, скрестив ноги в черных шелковых чулках. Никакие границы его не смущали. Вся жизнь, подобно римскому гладиатору, он провел на арене, то ускользя от железной сети или трезубца противника, то сам набрасывая сеть или нанося удары. Гладиаторы иногда отдыхали, у Попова отдыха не было. Он так привык к этой придворной борьбе, что уже не мог жить иначе. Что бы он стал делать, если бы вдруг исчезла нужда вербовать сторонников, примирять и сталкивать людей, кого-то свергать, а кого-то тащить вверх? Сначала это было привычкой, потом стало потребностью.

– Расскажите, что случилось между вами и графом Zubовым?

Военная слава, как вытекало из опыта Попова, не всегда сочеталась с знанием жизни и людей. Он не ставил этого в вину Ушакову, он только сожалел об этом. Откуда человек захудалого рода, живший в таком глухом углу, как Севастополь, мог постичь всю глубину и сложность дворцовых хитросплетений? Вероятно, Ушаков из преданности к Потемкину вел себя с недостаточным тактом. Но преданность без такта, как и дружба без влияния, бесполезна для светского человека.

Адмирал коротко и неохотно рассказал о своей беседе с Zubовым. Попов, как видно, приехал с целью исправлять его ошибку, а он не считал ошибкой то, что произошло.

Бывший начальник канцелярии Потемкина слушал Ушакова с тем вниманием, с которым опытный наставник слушает исповедь натворившего бед воспитанника. Попов искренне желал помочь адмиралу в его трудном положении.

– А! Он показывал вам прожект свой? – оживился он. – Это творение создано с единственной целью превзойти греческий прожект его светлости покойного князя.

Когда, адмирал кончил, Попов некоторое время молчал. В уме его быстро созрел план тихого и незаметного обхода. В рассказе адмирала все было ясно, кроме одного: понятен ли самому адмиралу смысл его поведения.

– Вы не правы, – сказал Попов, поднимая голову – Да, вы не правы. Самый опасный и неразумный удар – это удар в лоб. В политике таких ударов почти не бывает. Там мы пользуемся фланговыми движениями, а главное – ударами с тыла.

Ушаков не мог бы сказать почему, но военная терминология Попова ему не понравилась. Он неожиданно вспомнил, что, несмотря на лютую ненависть к Zubову, Попов каким-то образом сохранял с ним самые деликатные отношения.

– Я ничего не имею против ударов, я сам их наносил не раз, – отвечал Ушаков. – Я только против раболепного лобызания рук.

– И опять вы не правы, – горячо подхватил Попов. – Если необходимо, приходится идти на это.

– Я не знаю такой необходимости.

Попов чуть приподнял плечи.

– Для достижения великой цели порой следует поступаться самолюбием.

Ему было слегка досадно, что приходится объяснять столь простые вещи.

Но адмирал с той же насмешливой веселостью ответил:

– Напротив, государь мой: поступаясь уважением к себе, вы отступаете и от цели своей... ежели величие ее действительно, а не мнимо.

Как начинал понимать Попов, странное поведение адмирала диктовалось совсем не преданностью его князю Потемкину, а какими-то отвлеченными принципами. Попов встречал иногда таких людей, но они обычно долго не задерживались у источника власти и незаметно исчезали.

Насмешливая веселость, с которой сегодня говорил адмирал, не давала проникнуть ни одному благоразумному суждению. Попов попытался поставить вопрос на почву наиболее реальную.

– Но ведь, уступив графу Зубову в немногом, – сказал он, – вы могли стать во главе флота и спасти его от предстоящих ему бедствий.

– Спасти флот от графа Зубова не в моих силах.

– Вы могли бы направить действия графа Зубова на благо дела вашего.

– Действия графа Зубова направлены на благо его собственной персоны, а посему не могут служить никакому иному делу.

Ушаков смотрел на Попова с выражением спокойной уверенности. Он так твердо решил стоящую перед ним задачу, что было совершенно бесполезно возражать.

Но Попов не хотел отступать. Он не любил, когда последнее слово оставалось не за ним. Этот прославленный адмирал, прошедший всю жизнь среди матросов и грубых, похожих на них офицеров, в тяжелом воздухе корабельных трюмов и грязи верфей, слишком легко парировал его удары.

Попов давно уже составлял не то чтобы партию, а так – комплот людей, объединенных общей ненавистью к фавориту императрицы. Содружество это осторожно трудилось над тем, чтобы, воспользовавшись промахами Зубова, представить его в настоящем виде перед императрицей. У Попова и его единомышленников даже имелся наготове некий весьма привлекательной наружности молодой поручик, которому надлежало заменить Зубова близ императрицы. Этим «восходам» и «заходам» фаворитов Попов придавал большое значение, потому что с поручиком к власти приходило и выдвинувшее его содружество. К нему Попов рассчитывал привлечь и адмирала.

Ушаков снял с рукава мундира нитку, но не бросил ее, а аккуратно положил на стол. Видимо, он был совершенно уверен, что понимает вещи именно так, как должно.

– Я очень благодарен вам за участие ваше, государь мой Василий Степанович. Но то, что вы почитаете ошибкой моей, есть действие, мною хорошо обдуманное и исправлению не подлежащее, – заметил Ушаков, по обыкновению своему внося полную ясность.

Попов больше не возражал. В сфере общих понятий он не чувствовал себя сильным. Ушаков, как видимо, не только не ценил тонкой беспокойной деятельности Попова по свержению старых и возвращению новых фаворитов, но считал ее совершенно бессмысленной, может быть, и смешной, судя по его улыбке. Были, очевидно, в мире другие цели, другие мысли и понятия, совсем не похожие на те, которыми жил Попов. Это они делали людей такими снис-

ходительными и высокомерными. Но Попов слишком хорошо понимал, что за подобное человеческое высокомерие надо платить ценой отказа от счастья и успеха.

– Вы обрели славу, Федор Федорович, – сказал он примирительно, все с большим любопытством глядя на адмирала. – Но благополучия вы так не обретете, поверьте мне.

Ушаков ответил, собирая на лбу складки:

– Я видел на днях у одного парадного подъезда двух арапов. Они были столь нарядны, сыты и довольны, что никто не усомнился бы в их благополучии. Но я не хотел бы стать таким арапом.

Попов улыбнулся. С человеком, так решительно и круто ломавшим свою жизнь, говорить было слишком трудно. Да и что такое благополучие, они понимали настолько различно, словно один из них жил на Земле, а другой – на Меркурии.

Они оба замолчали, поняв, что дороги их разошлись без малейшей надежды скреститься вновь.

Проходя по гостиной в сопровождении адмирала и Аргамакова, который вышел поздороваться с гостем, Попов задержался и сказал:

– Государыня приказала передать вам, Федор Федорович, что она по-прежнему пребывает к вам благосклонна.

Ушаков наклонил голову.

Попов вышел, стукнув о порог красными каблуками.

Визжа на проржавленных петлях, распахнулись ворота, карета Попова лихим рывком снялась с места. И скоро звук рожка затих вдали.

– Все недоразумения разрушены. Пойдемте, – сказал Ушаков, касаясь руки хозяина.

Но мысли Аргамакова, как видно, блуждали далеко и не имели никакого отношения ни к начальнику канцелярии, ни к адмиралу. Румянец исчез с его круглых щек, на лице застыла скорбная гримаса. Он пытался по привычке улыбнуться и не мог.

– Диомид Михайлович, дорогой, что с вами? – воскликнул адмирал. – Что-нибудь случилось? Скажите мне!

Аргамаков провел языком по сухим губам.

– Нет, ничего, Федор Федорович. Ничего. Простыл немного вчера в книжной лавке, – отвечал Аргамаков. Он хотел что-то добавить, но только с видом полного отчаяния махнул рукой и побежал по лестнице в дом.

Ушаков видел, как вздрагивают его плечи.

Адмирал вернулся в свою комнату, но ничем заняться не мог. Невысказанная тревога хозяина дома невольно беспокоила и его. Он привык в таких случаях что-то предпринимать, а не сидеть сложа руки. Но он не знал, можно ли сейчас даже зайти к Аргамакову или следует подождать, пока несколько утихнет его горе.

Но Аргамаков пришел сам. Он, видимо, не мог оставаться один. Вытерев платком лоб и тяжело дыша, он произнес:

– Большое несчастье, Федор Федорович. Не только для нас, для всех... Государыня подписала приказ об аресте Николая Ивановича Новикова.

Адмирал почувствовал, как похолодели у него руки. Но в первое мгновение он подумал не о Новикове, а о Непенине.

– Николая Ивановича? – переспросил он. – Но может быть, еще кого-нибудь? Это, вероятно, все масонские логи?

– Нет, пока больше никого. Приказ о производстве следствия над московскими масонами был подписан еще год назад. Государыня передала его Безбородко с тем, чтоб тот пустил его в ход, когда будет нужно. Но Безбородко до сих пор находил, что такие действия не подобают славе императрицы. И хода приказу не давал. Я не знаю, так говорят. Я не понимаю ничего: ни Бога, ни мира, ни государей...

Ушаков не сделал попытки ободрить Аргамакова. Он сам не понимал многого. Он испытывал то же, что человек, попавший в комнату, где не было ни дверей, ни окон. Куда бы он ни шагнул, везде гладкие холодные стены. Сколько ни кричи и ни колоти в них руками, никто не услышит. Надо только сесть на пол и ждать, а чего – никому не известно. И ощущение полной безысходности было так сильно, что Ушаков почувствовал чисто физическую тяжесть в плечах, в руках, во всем теле.

– Я говорил вам о призраках, которые владеют умом государыни, – тихо произнес Аргамаков. – И вы видите, что они уже распоряжаются судьбой каждого из нас. Расскажите обо всем Петру Андреевичу.

– Да, да, я все расскажу, – ответил адмирал.

С этого дня Петербург окончательно опостылел Ушакову, и он очень обрадовался, когда получил высочайший рескрипт, в котором, после краткого перечня его заслуг, ему предписывалось ехать обратно в Севастополь и вновь приступать к своим обязанностям.

## 9

Почти всю дорогу до Москвы шел снег. Из кибитки было видно одно белое утомительное мелькание. От этого рябило в глазах и нехорошо, скучно и тягостно становилось на душе. Кроме того, удручали грязь, зловоние и мириады клопов на станциях и постоянных дворах, где поневоле приходилось ночевать.

Адмирал приказывал окуривать свою постель, носил на шее блохоловку и маленький мешочек с травой, которая должна была отгонять насекомых, но ничто не помогало. Спать по ночам он не мог и отсыпался днем в кибитке.

К тем безнадежным мыслям, с которыми он покинул Петербург, присоединились новые, еще более мрачные.

Год был неурожайный. По всем дорогам брели толпы нищих, порой целыми семьями. Адмирал видел, как снег опускался на их спины, плечи и головы. Люди становились похожи на белые привидения, которые быстро исчезали в такой же белой струящейся мгле. Эта мгла неотступно двигалась за кибиткой, словно хотела ее поглотить.

На станциях нищие окружали возок и следовали за Ушаковым до самых дверей. Адмирал раздавал им деньги, выбирая женщин с детьми и стариков. Но денег на всех не хватало, и он знал, что скоро наступит время, когда он не сможет больше давать, иначе ему самому не на что будет доехать до Севастополя.

Безрадостен был и вид деревень. Черные курные избы стояли без крыш, потому что солома была скормлена голодающей скотине. Заметенные снегом избы походили на облысевшие старческие головы, подслеповато смотревшие в снежную мглу маленькими заиндевелыми оконцами.

В сером небе носились галки. Они стаями садились на обнаженные жерди крыш, на деревья, и крики их походили на озлобленную ссору.

Кибитка, в которой рядом с адмиралом сидел Федор, и возок с поклажей, под охраной денщика Степана, неслись мимо изб, околиц и плетней. Они надолго тонули в бескрайнем белом просторе занесенных полей. Бесконечно тянулось время. И тогда адмиралу казалось, что на свете нет ничего, кроме монотонного звона колокольцев да покачивавшейся на облучке полусогнутой спины ямщика.

Однажды лошади, бросившись в сторону, едва не опрокинули кибитку.

На обочине дороги лежало что-то темное, наполовину занесенное снегом. Ушаков разглядел упавшую шапку и желтое ухо под прядями слипшихся волос.

– Стой! – закричал адмирал ямщику. – Не видишь, человек лежит?

– Помер он, надо быть, ваше превосходительство, – тихо ответил ямщик. – Много народу нынче с голоду помирает.

– Надо посмотреть! А ну как жив еще?

Ушаков выпрыгнул из кибитки. За ним слез с козел ямщик.

Но едва адмирал приблизился к телу, как лохмотья зашевелились и что-то похожее на большую собаку, поджав хвост, кинулось прочь от людей.

– Волк, – сказал старый Федор из кибитки.

Лошади испуганно рванулись, ямщик бросился к ним, хватаясь за вожжи. Волк мелкой рысцой, не торопясь и иногда оглядываясь, потрусил к лесу.

Ушаков уныло стоял над телом, забыв даже снять шапку. Федор крестился и бормотал молитву. А мелкий колючий снежок уже заносил потревоженные лохмотья и желтое ухо под прядями смерзшихся волос.

Наконец снова сели в кибитку, и мертвое тело мгновенно исчезло из виду. Однако отныне, где бы ни замельтешило близ дороги темное пятно, адмиралу неизменно чудилась мертвая человеческая голова и свалившаяся с нее баранья шапка.

По какой-то необъяснимой связи с заброшенным видом деревень и зимней дороги Ушакову вспоминались дворцовые люстры, увешанные граненым хрусталем. Рядом с голыми деревьями гордо вставали мраморные колонны. И в воображении его возникали высокие прически фрейлин, украшенные бриллиантами, и дородная фигура императрицы в русском сарафане.

Этот сарафан почему-то все больше озлоблял адмирала.

– Символ единения с народом, – вслух бормотал он. – Символ единения вот с этими лысыми избами и с тем мертвецом, которого доедают волки. Фелица в сарафане: сколь трогательный образ для всех чувствительных сердец!

Еще перед отъездом Ушакова из Петербурга Аргамаков как-то сказал ему:

– Сей мир страшен своими несоответствиями. И люди, увы, не равны перед лицом творца вселенной: одни погрязают в нищете, а другие ссыпают в закрома золото...

Аргамаков проявлял в это время большую и беспокойную деятельность. Вместе с некоторыми из петербургских литераторов и масонов он занимался сбором средств для помощи голодающим. Но каждый вечер, подводя итоги сборов, Аргамаков вытирал платком круглое лицо и повторял:

– Сердца людей имущих – черствы и себялюбивы. И сколь малым кажется несчастье, которое до нас никогда не касалось. «Как же быть в самом деле с неравенством состояний? – мысленно спрашивал Ушаков. – Разве не установлено оно от Бога с начала мира за прегрешения людей? Или такие люди, как Аргамаков и мой добрый друг Непенин, не напрасно искушают ум, задавая ему эти вопросы. Я не пиит и не сочинитель, мне знакома простая правда жизни. Я не призван решать дела, которые не от воли единого человека зависят. Но я не хочу, чтобы люди умирали на дорогах моего отечества. Что же я должен делать? Что?..»

И когда Ушаков приближался к этому последнему вопросу, тревожившему его совесть, в голове его поднималась сумятица, очень напоминавшая ту белую мглу, среди которой все время двигалась кибитка.

С детства внушенные верования в неизменность и мудрость установленного порядка вещей были еще очень живы, и адмирал отнюдь не собирался опровергать этот порядок. Но он не мог спокойно относиться к людскому горю и пытался помочь ему в каждом отдельном случае. Зло, которое порождало это горе, представлялось адмиралу неустранимым свойством бытия человека. Борьба с ним было также бессмысленно, как бороться с тем, что человек пьет, ест и без питья и еды жить не может. Теперь же Ушаков пытался найти не частное, а общее средство для смягчения жестокой судьбы человека, и само зло предстояло перед ним не в отвлеченной, а в самой конкретной форме и столь ужасной, что редкое сердце могло не содрогнуться.

«У меня нет ни имени, ни денег, чтобы накормить всех голодных, – думал он. – Но у меня есть дело, которое равно служит пользе каждого. Строить флот и сокрушать врагов Российской державы, служить отечеству по чистой совести, не ради своего прибытка, а ради общей пользы – ведь это и значит идти по пути истинному. Чем больше будет тех, кто по настоящему радеет об отечестве, не щадя своих сил и способностей, тем скорее водворится в нем и благоденствие, в коем нуждаются все люди».

Кибитку в эту минуту сильно встряхнуло на ухабе, и адмирал невольно повалился на дремавшего рядом старого слугу.

– Что? – забормотал тот, просыпаясь. И, оглядевшись, с неудовольствием добавил: – Все-то вам не сидится покойно, сударь! Держитесь крепче!

И адмирал, вздохнув, ответил:

– Держись, Федор, держись! Нет покою на этой земле, да и бесчестен тот, кто ищет его среди стольких человеческих бедствий.

## 10

В зеленоватом небе висел бледный, чуть светящийся месяц. Березы, насаженные по обеим сторонам дороги, роняли на кибитку хлопья снега. Мелькнул старый вяз с дуплом. Потом понесся навстречу столб с двускатной крышей над выцветшей иконой.

И вяз с дуплом, и столб с иконой, и даже деревянный петух на крайней избе деревни, которую только что проехали, – все это было, как двадцать лет назад, и адмирал вдруг почувствовал бурную, захватывающую радость. словно время повернуло вспять, еще немного, и он увидит мать и отца. Отец будет жаловаться, бранить все на свете. А мать в полотняном чепце с оборочками выйдет к нему с запачканными в муке руками, потому что никому не доверяет теста. Из-за ее плеча выглянет круглая физиономия брата Вани с вихрастыми завитками льняных волос над красным лбом и шрамом под глазом, делом рук самого адмирала. Брат непременно жует что-нибудь. У него сказочный аппетит, он даже по ночам встает и пробирается в сени к кринкам. Все это смешно, забавно и дорого. Все в ясной дали, где-то тут, за горизонтом, и вот-вот явится близко.

– Федор, ветлы узнаешь? Сейчас за ними поворот, и мы дома.

С козел отозвался хриплый голос:

– Ветлы-то кривые стали. Согнуло.

Адмиралу стало неприятно, что деревья согнулись.

– Куда ты едешь? Разве не тут поворот? – даже с некоторой обидой крикнул он ямщику.

– Нет, мы маленько вправо берем. Берег тут обвалился, мост перенесли по реке выше.

Когда кибитка спустилась на лед реки, далеко внизу, на ее неподвижной, запорошенной снегом глади, Ушаков увидел черные сваи старого моста в шапках льда.

Снова взвизгнули полозья, кибитка поднялась на высокий берег, и сразу в ложбине открылась деревня. Темная, с заснеженными крышами, словно вросшая в землю. Дома похожи на большие белые грибы, один среди них, повыше других, – барский дом.

Сердце Ушакова застучало частыми ударами. Он сам не знал, чего он ждал, что так хотел увидеть. Ведь уже никого не было в живых, кроме брата. Да и брат вряд ли приехал из своей деревеньки.

Лошади стали у крылечка. Почерневшие стены дома были до самых окон завалены снегом. Сквозь темные тусклые стекла мелькал слабый мечущийся свет. Пахло помоями, которые выливали прямо с крыльца на дорогу. Около застывшей лужи смешно, как на пружинах, прыгали галки. За дощатыми воротами гремела цепью и сварливо лаяла собака. Приоткрылась входная дверь, выглянула растрепанная простоволосая женщина с голыми руками и босая.

– Ну что стала? – с обычным презрением к женскому полу и его глупости крикнул Федор. – Барин приехал, не видишь?

Но женщина, вместо того чтоб открыть дверь, мгновенно скрылась. А вместо нее появилась высокая плотная фигура в стеганом халате и колпаке, поверх которого был повязан платок.

– Брат!

– Да, Ваня, я.

Адмирал взбежал на крыльцо. Нетерпеливыми холодными от мороза руками он обхватил шею брата. Тот ловил его за плечи и мокрыми губами, на которые сбегали слезы, целовал в обе щеки.

– Давно-то как, а?.. Время-то, время-то! – растерянно бормотал Иван простуженным голосом. – Идем, идем, ветрено тут.

Они вошли в сени. Там стояла встретившая Ушакова босая женщина лет тридцати с худой жилистой шеей и красными руками. Мальчик-подросток в казакине из домашнего сукна, с заплатами на локтях, держал свечу в медном подсвечнике.

Деревянные лари, кадки, бочки, ушаты громоздились в беспорядке, едва оставляя свободный проход. На стене чулана висели серпы, косы и грабли.

– Идем в покой, – торопил Иван Федорович. – Простынешь.

Адмирал переступил порог. Он все еще надеялся увидеть то радостное, что так живо представлялось ему дорогой.

Мальчик поставил свечу на стол, и в покое заколебалась в углах темнота. Все было, как прежде: небеленые бревенчатые стены, неровный выбитый пол, в одном углу – киот, в другом – шкафчик с пустыми полками. В простенке висела картина, изображавшая Авраама в тот момент, когда тот готовился принести в жертву Богу своего сына. Толстый с розовыми щеками ангел удерживал его руку, вооруженную огромным ножом. На столе, покрытом холщовой скатертью, дымился горшок со щами, стояла плошка со студнем и оловянные тарелки. Трещал сверчок за огромной печью. Все было грязным, бедным и ветхим, и всюду лежала душная непробудная тишина.

Губы адмирала дрогнули от острой нестерпимой печали. Он бросил шубу на скамью и быстро подошел к Ивану.

– Дай посмотреть на тебя, я ведь оставил тебя недорослем.

– Ничего хорошего не увидишь, брат. Состарился, облысел.

Действительно, трудно было узнать в сорокалетнем рыхлом человеке прежнего кудрявого румяного Ванюшу. Только за ушами и на затылке сохранились пучки белокурых завитков. А все черты расплылись, огрубели, и в том, как он подбирал губы большого рта и пережевывал втропях недоеденный кусок, было выражение тревожной озабоченности.

– А ты гвардион совсем, – вздохнув, сказал Иван. – Видать, и здоровье крепкое.

– Ничего, не жалуясь. А ты неужто прихварывать стал?

– Не до того, брат. Некогда. Верчусь, как кубарь. Садись, ужин вот...

Иван придвинул было старое кресло, набитое сеном, но, взглянув на белый мундир адмирала, стал спешно вытирать полой халата сиденье и спинку.

– Я чаю, ты к тонким яствам привык. А у нас тут серо, так спроста все...

– Ну, какие там яства, голубчик! В плавании сухари да солонина.

– Конечно, служба, – тотчас подхватил Иван, но в улыбке его и во взгляде адмирал прочел недоверие. – Мы тоже больше на солонине сидим.

Он передал адмиралу студень и деревянную ложку, которую вытер собственными пальцами. Поминутно Иван Федорович вставал и подходил к двери звать ключницу. Женщина с испуганным лицом громко, словно деревяшками, стучала голыми пятками и все боялась как-нибудь задеть адмирала, чтоб не запачкать его мундира.

– Да посиди, – говорил Ушаков брату, – я же столько лет не видел тебя.

Иван садился, складывая на коленях руки, собранные в кулаки. Это была его старая привычка.

– А мы о тебе все знаем, – бормотал он. – О викториях твоих. Гордимся. Да и предводитель здешний меньше притеснять стал. Соседи говорят: «Ваш братец теперь вельможа. У государыни принят».

– Ну, где там вельможа! Такой же лапотный дворянин, как и был, – усмехнулся адмирал.

– Толкуй. Ты лучше расскажи, брат, как ты там среди двора... Как государыня была, очень ли милостива? – спросил Иван тоном тихого благоговения перед высоким обществом, о котором знал только понаслышке, и плотнее сомкнул колени.

Адмирал рассказал ему о приеме у императрицы, о блестящем куртаге, о встречах с сановниками. Он толь-то не упомянул о своих мыслях и впечатлениях, да и вообще старался быть кратким.

– Далеко пойдешь! Далеко! – восклицал Иван и даже прихлопывал ладонями по коленкам. – Род Ушаковых – древний род, княжеский! Опять воссияет, а?

Глядя на оплывшую свечу, адмирал прислушивался к возне и писку крыс под полом, но не торопился разочаровать брата. Ему было неприятно выражение подобострастия и умиления на лице Ивана, когда речь шла о знатных персонах. Знаменитые же виктории адмирала, как видно, сами по себе очень мало интересовали брата. В его глазах они были не целью, а средством. Подлинный смысл их раскрывался лишь в благоволении императрицы. Легкая досада, постепенно усиливаясь, начала пощипывать сердце адмирала.

– Расскажи о себе. Обо мне довольно, – оборвал он.

Голос у него был резкий, привыкший к команде. Белый мундир, орляные, мерцавшие в темноте пуговицы, золотой эполет, кружева на груди – все это новое, свежее выглядело так необычно в этой прокопченной комнате, что адмирал, вероятно, вдруг показался Ивану Федоровичу таким же далеким, как и жители никогда невиданных им царских палат.

– Что я!.. – со вздохом отозвался он. – Тяжба вот, сосед пустошь отбивает. Дело в суде четвертый год. Имение, сам знаешь, тридцать душ. Тут как хочешь выворачивайся. Дочери две, приданое надо, – говорил Иван. – Жизнь дорогая. Мы, конечно, стараемся иметь все свое, ничего не покупаем. Платья там, платочки бабы дома ткнут. Свечи, к примеру, и те сами делаем. Летом огня вовсе не зажигаем, а зимой у одной свечки, как мухи, соберемся и сидим. Норовим спать пораньше лечь. Дорого все...

– Да, очень дорого, – машинально отозвался адмирал, сосредоточивший все внимание на свече и ошупывавший теплые застывающие шарики воска, сбегаящие на подсвечник.

– Главное – приданое, – продолжал Иван. – Кто без гроша возьмет? Девицы невесты стали. Ты человек холостой и вообразить не можешь, что значит дочери-невесты.

– Нет, отчего же? Могу понять.

Губы Ивана Ушакова обиженно опустились.

– Ну, где же! Это ежели своя кровь...

Обида его явно относилась к Лизе, крестнице адмирала. Подобно большинству людей, имеющих родственников, Иван Федорович Ушаков был твердо убежден, что они должны пещись о нем и его семействе. Если же они не пеклись, он оскорблялся их себялюбием и черствостью, а если давали мало, обижался, что не дают больше. Должен ли он сам что-нибудь давать, он вовсе не думал. Когда до него дошли слухи о появлении Лизы и о привязанности брата к чужому ребенку, он почувствовал себя так, словно его обобрали до нитки.

– Мала, мала, а вокруг пальца обвела, – говорил он жене. – Да и Федор сам хорош. Ежели ему скучно, мог бы родную племянницу воспитать. Все же своя кровь...

Адмирал без труда прочел тайные мысли брата. Может быть, он и виноват перед Иваном, что из невеликих своих доходов отдавал часть Лизе, а не ему. Но делать нечего, в жизни нельзя не быть виноватым хоть перед кем-нибудь. Немного неприятно, что после двадцатилетней разлуки разговор уж слишком скоро начинает клониться к денежным интересам.

– Я привез кое-что для твоих дочерей, – сказал адмирал. – Показать?

– Спасибо, брат. Успеем. Ведь ты к нам? Я здесь живу, тебя поджидаю.

– Я бы хотел прежде оглядеться.

– Что ж, я тебе охотно помогу. Все дела здешние знаю наперечет, – поспешно сказал Иван.

Сорок душ, принадлежавших адмиралу, были переведены по его указанию с барщины на оброк. Ивану Федоровичу очень хотелось, чтобы брат поручил ему управлять имением, и потому это неожиданное нововведение очень его оскорбляло. При постоянных нехватках мысль об оброке сидела в уме Ивана, как заноза. Вместо того чтоб давать доход законным наследникам рода Ушаковых, имение было отдано мужикам.

Голосом унылым и обиженным Иван стал доказывать, что за двадцать лет вольной жизни мужики совсем разленились, земля стала худо родить, хозяйство запущено, царят разврат, воровство, буйство. Не далее как третьего дня стащили шлею, которая лет пятнадцать висела

на гвозде в конюшне. Он долго говорил о шлее, намекая, что тут причастна и ключница, тоже воровка, как и все.

Адмирал внимательно слушал. Как человек дела, он скоро заметил, что осведомленность брата уж слишком велика, чтоб быть бескорыстной. Но если брат и посасывает что-либо из его собственного добра, пусть это будет возмещением за не слишком щедрую помощь.

– Все прахом идет! Все! – воскликнул Иван. – Имение хоть и небольшое, но ежели руки приложить, не скажу, что золотое дно, а доход был бы...

Чтоб скрыть усмешку, адмирал взял в рот кусок студня, пахнувшего паленой шерстью и рогом. Он не сомневался, что, ежели приложить руки, Иван сумел бы из сорока душ выжать масло. Сумел бы и он сам, ибо в роду у них преобладали люди энергические. Но мало было уметь, надо было желать выжать масло. А он не мог желать этого.

– Ты вот отдал им все, – говорил Иван, имея в виду мужиков, – а разве они ценят? Им все мало, они никакой благодарности не чувствуют.

– А я и не требую ни от кого благодарности.

– Напрасно, напрасно. Это к добрым нравам относится. А мы о нравах людей своих пещись должны.

– Каким образом?

– Насаждением добродетели, – с некоторой даже гордостью сказал Иван. – Борьба с пороками – удел человека. Я им не попустительствую. Ежели мужик украл, впал в буйство или плохо справляет барщину, я его призываю и приказываю дать ему положенное число ударов розгами. И справедливо, и для прочих вразумительно. Так и с твоими. Они ведь счастья своего не понимают, – неожиданно заключил Иван.

Он был так твердо уверен в своей правоте, освященной веками, что даже забыл страх перед братом и говорил с горячностью и убеждением человека, который всегда был честен и всем желал добра.

– Как я понял, мужики начинают понимать свое счастье, только когда их высекут? – спросил адмирал.

– Философия! – сказал Иван Ушаков. – Старики не глупей нас были. Понимали, в чем польза. И нас с тобой секли, и мужиков секли. А жили лучше нашего.

– Чем лучше?

– Доход больше был.

– Так ведь это не от порки, а оттого, что у отца было семьдесят душ, а у тебя тридцать. Что же касается зуботычин, то я несколько сомневаюсь в том добре, кое они приносят в мир.

– Я философии не понимаю, – угрюмо буркнул Иван, и толстые губы его задрожали.

Ивану было обидно и то, что он не понимает философии, и то, что брат явно над ним смеется. А главное – Федор решительно отводит все благие советы. Он ничего не хочет менять, и его имением в сорок душ так и будут владеть мужики. Ведь они и оброка ему не высылают.

– Я бы все-таки просил тебя, – вдруг сказал адмирал, – не менять здесь раз положенного порядка. Пусть люди мои живут, как мною им указано, и проступки свои судят миром.

Ему хотелось прекратить вмешательство брата в управление крестьянами сразу без всяких подходов и обиняков, рискуя даже обидеть Ивана. Зато все будет ясно и понятно и к этому вопросу не придется возвращаться.

Иван Ушаков был обижен до глубины сердца. Собственно, когда он наказывал братних мужиков, он не преследовал иной цели, кроме водворения «нравственности» и заботы об интересах имения. Брат, конечно, отлично это понимает и если высказывает недовольство, то совсем по другой причине. Причина эта, несомненно, была в том, что ему просто жалко тех двух возов пшеницы и ячменя, что Иван увез к себе заимообразно в этом году да так и не отдал. Иван забыл даже, что адмирал ничего об этих возах не знает. «Могу вернуть, ежели и это надо

мужикам отдать, – думал он, посапывая и искоса поглядывая на брата. – Уж ежели обычай такой, что все чужим... Все философы таковы. Сами нищие и других готовы по миру пустить».

Он хотел было высказать все это, но человек, сидевший перед ним в мундире и орденах (Иван мысленно увидел их на груди брата), с той свободой обращения, которая бывает лишь у тех, кто привык приказывать, этот человек уже принадлежал к другому миру. А с людьми иного, высокопоставленного мира, как по опыту знал Иван, говорить следовало, очень и очень подумав.

– Ежели ты старосте больше доверяешь, то я могу и не заезжать сюда. Я ведь для пользы твоей... – сказал Иван Федорович, желая в одно время показать и то, что он обижен, и то, что обида эта готова, если надо, угаснуть

– Давай спать ложиться, – резко ответил адмирал. – У меня здесь нет ничего, чтоб моей пользе служило. Я чаю, ты на лежанку, а?

– Я было тебя думал...

– Уволь. Не привык я к лежанкам.

От огромной печи, занимавшей не меньше трети комнаты, веяло душным жаром. Из окна, напротив, сильно дуло. Зимних рам не было, и ключница принесла доски, чтоб на ночь заставить ими окна.

Весь вечер, разговаривая с братом, адмирал старался вызвать наиболее яркие и любимые образы прошлого. Но ничто не являлось его внутреннему взору. Он сидел на кресле отца, рука его ощупывала старое, выбившееся из-под обивки сено. И чувствовал он только, как уныла и скучна жизнь в этом доме, что он отвык от нее, и ему уже хотелось уехать. А еще ему было жаль брата и жаль того, что пришлось его обидеть. Иван весь век смотрел на свет вот через такие тусклые, закопченные стекла.

– Ну, ну, укладывайся, – мягко сказал адмирал, проводя рукой по сутулой спине брата.

Иван Федорович долго возился на лежанке. Он всегда укрывался очень тщательно, утыкая одеяло со всех сторон так плотно, что лежал потом, как личинка в коконе. Горечь его не проходила. Всю жизнь он гонялся за пятаками и гривенниками, страясь накопить на приданое дочерям. Все надежды Иван возлагал на брата, который, как видно, жениться не собирался. «К чему ему! Человек он к семейной жизни не подходящий. Все равно ничего хорошего не выйдет», – почему-то решил про себя Иван. И действительно, все шло благополучно: Федору перевалило уже за сорок, а он оставался одиноким. И вдруг появилась какая-то крестница Лиза, а как теперь пришлось убедиться, еще и философия. Что было хуже: крестница или философия, Иван пока не мог решить.

По слухам, брату было пожаловано имение. А не хочет ли Федор скрыть под философией увеличение своих доходов, чтоб родные у него денег не просили? Сам Иван, когда ему удавалось что-нибудь приобрести, тщательно скрывал это. Ему казалось, что у людей нет других помыслов, как обирать друг друга, и он никому не верил. Вероятно, и брат хитрит, а так как Ивану вопрос об имении очень хотелось выяснить, он начал издалека.

– Папенька на этой постели богу душу отдал, – начал он из темноты. – Сам знаешь, какой был человек... старинный, в страхе божьем жил. Тихо, мирно, как подобает.

Адмирал очень хорошо помнил, что не было ни одного дня, когда бы раздражительный и желчный отец не кричал и не ссорился со всяким, кто попадется под руку, но из уважения к его памяти промолчал.

Иван Ушаков лежал в своем жарком коконе и вспоминал. Выходило, что прежде жизнь была полна простоты и правды. Все любили друг друга, а потому рожь была такова, что человека в ней не было видно, яблоки росли с блюдце величиной, а рыбы было столько, что не успевали вытаскивать сети.

Адмирал не видал в детстве яблок величиной с блюдце, садов и яблонь вообще не было ни у отца, ни у ближайших соседей. А низкорослая рожь никак не походила на лес. Оставалось

предположить, что вся эта фантастическая картина блаженного прошлого была создана Иваном для того, чтоб осудить брата за то, что он перевел мужика на оброк.

– А почему так было? – сверху, словно с потолка, говорил Иван. – Потому что предки наши не знали суемудрия, кое противно Богу.

– Ты о каком же суемудрии? О моем, что ли?

Было слышно, как Иван завозился на лежанке. Брат уж слишком легко проникал в его мысли.

Непривычная духота начинала томить адмирала. Крысы уже не пищали под полом, а смело шныряли под его кроватью и звенели на столе неубранными ложками.

– Я к тому, что нынче многие отвергают Бога, – вдруг стыдливо пробормотал Иван, испугавшись, что сейчас станет все ясно, и желая уйти в сторону.

– Я сделаю тебе одно признание, – сказал адмирал, прямо отвечая на его невысказанный вопрос – Пусть ничего недоговоренного не будет между нами.

Иван тревожно затих.

– Надо было мне решить раз навсегда задачу, – сказал адмирал в потолок и потом все время говорил туда, в темноту, может быть, больше для себя, чем для брата. – Старую задачу, – повторил он. – Кому служить: Богу или мамоне, служить отечеству или приобретать имения.

– Почему же, брат? Богу и мамоне нельзя, а отечеству и имению...

– Можно? Нет, лакей только служит барину, иного дела иметь не может.

Иван искренне старался понять брата и не мог. Из-за чего же и служить, если не из-за награды? Человек в бою кровь проливает, ну, естественно, ему и милости всякие. И при чем тут лакеи, кои суть рабы и таковыми будут всегда? Весьма странно, что адмирал, а так рассуждает.

– Ты что же, о спасении души думаешь? – вдруг спросил Иван.

Эта мысль так его поразила, что он даже скинул одеяло. Иван очень живо представил себе, как брат начнет ханжить, потеряет службу, спустит все имение, раздавая что ни попало всяким проходимцам. Если уж пришла блажь раздавать имущество, чего естественнее передать его самым близким родственникам. И не один Федор метит в праведники. Это с недавних пор в роду Ушаковых такая язва завелась. Родной дядюшка Иван Игнатьевич вдруг ни с того ни с сего из офицеров постригся в монахи. Казалось бы, уж если так, то стукай лбом об пол да пой. А он вместо смирения мужиков начал защищать перед воеводой, ссору завел, и упекли этого святошу в Соловки. Доспасался?

– Что это тебе в голову пришло, спасенье какое-то? Совсем я о другой материи, – раздраженно сказал адмирал.

Он оперся локтем о подушку. Кислый запах старых перьев шел от холщовой наволочки. Ясно было, что этот разговор начат напрасно, что Иван либо не поймет, либо не поверит ему. Но пусть уж лучше он разочаруется сейчас, чем позднее.

– Не возлагай на меня излишних надежд, – заговорил адмирал упрямым и резким голосом. – Род наш сиять во дворцах не будет. Для сего сияния нет во мне таланта. Тут одних викторий мало. Вернее даже, что они совсем не нужны. Нужно уметь служить, но не отечеству, не флоту, а графу Зубову. Я должен подставить ему спину, чтоб он взобрался мне на плечи и казался тогда выше, чем есть на самом деле. И тогда он даст мне поместья. Но я не хочу положить жизнь мою на то, чтоб таскать подлецов на себе. Добродетель – не роскошь, она – необходимое условие, без коего немислимо никакое человеческое творение. А я считаю, что, одерживая свои виктории, я мыслю и творю, и прежде всего служу отечеству. Меня уговаривали, мне льстили доказать, что за сумму небольших пресмыкательств я могу купить процветание делу моему. Но на подлости ничто не цветет. А потому не жди ничего: ни имений, ни сияния нашему роду. Жди только, что чести своей я не посрамлю, а выше отечества моего никого не поставлю.

Иван Ушаков быстро сел, сильно ударившись о печку. Но боли он не чувствовал. Такого жестокого, беспощадного удара не ожидал.

– Брат, не нам рассуждать! – воскликнул он, едва удерживая готовые брызнуть слезы. – Не нам!..

– Если не нам, то кому же: здешнему шинкарю или капитан-исправнику? – все так же упрямо продолжал адмирал. – То, что решено, то кончено! А потому давай спать теперь. Все сказано, и никакие химеры не помешают нам больше...

Он пошевелился, укладываясь так, чтоб не слишком чувствовать прелый запах плохо очищенных перьев от своей подушки. Через некоторое время Иван Федорович Ушаков услышал его ровное дыхание. Если братец не спал, то бесполезно было задавать ему вопросы, ибо химеры, как видно, умерли по-настоящему и не могли уже откликаться ни на какой голос, если это был даже голос самого благоразумия.

## 11

Изба деревенского старосты была с утра полна народом.

Староста приходился сватом адмиральскому камердинеру и считал за честь угостить знаменитого родственника.

Старый слуга Ушакова Федор сидел в красном углу под образами. Бритое лицо его выражало приличное случаю достоинство и важность. На нем был новый кафтан с медными пуговицами, зеленый адмиральский камзол и шелковый, тоже адмиральский, шейный платок. Ел Федор медленно, как бы нехотя, явно делая этим одолжение хозяину. Говорил он только с самим старостой и наиболее почетными гостями. Женщин, в том числе и хозяйку, он совсем не замечал, словно по избе ходили и прислуживали ему незримые духи.

Большинство посетителей стояли в почтительном отдалении и жадно созерцали невиданное зрелище.

Староста, небольшой юркий старичок, с хитрыми подслеповатыми глазками, осторожно хлопал Федора по колену и повторял:

– Ты, Федор Никитич, человек правильный...

Федор со снисходительным пренебрежением оглядывал слушателей и шевелил густыми сивыми бровями. Он давно привык считать себя человеком самого последнего ранга и, чтоб порой как-нибудь повысить этот ранг, говорил адмиралу грубости или напивался пьяным и тогда предавался такому буйству, что отовсюду сбегались зеваки смотреть на него. Теперь же, снова попав в деревню, он вдруг почувствовал, что есть ранги куда ниже его и что здесь он не только первый человек, а, пожалуй, еще и герой. Несмотря на презрение к миру и людям, Федор любил почет, и жадное внимание крестьян возбудило в нем нечто похожее на вдохновение.

– Чего вы видели? – спрашивал он, начиная, как всегда, с поучения. – Чего вы можете понимать?

Все молчали, не решаясь похвастаться своим пониманием.

– Хата да поле, – продолжал Федор. – Поел, поработал, опять поел да вахлаков народил. Вот и все дела ваши.

– Это – что говорить, – вздохнул бородатый крестьянин, похожий на цыгана.

– Видали вы море-океан? – спросил Федор и обвел всех испытующим взглядом.

– Где нам, Федор Никитич! – ласково и сокрушенно отвечал за всех староста. – Светло для нас, ровно поскотина, огорожен. Дальше прясла ничего не видели. В своем городе, в Темникове, и то только по базарным дням бываем.

Федор строго оглядел слушателей.

– Так, суетность у вас: вокруг себя все. А там политика, дела военные, до многих государств касаемые.

Федор никогда не думал, что слова могут доставлять такое острое удовольствие. А сейчас, произнося слова «государство» и «политика», слова большие и захватывающие, он чувствовал, как вкусно и горячо становится во рту.

– Какая же такая политика, Федор Никитич? – осторожно спросил староста.

– Очень, братец мой, хорошая. Сам человек ничего не делает, только другим указывает: иди, мол, туда или сюда и хоть помри, а исполни. И все исполняют.

– И вы так приказывали? – спросил крестьянин, похожий на цыгана, и что-то дрогнуло в его густой бороде и усах.

Федор хоть и смутно, но уловил в его тоне оппозицию и, пожалуй, даже усмешку.

– И я приказывал, – отвечал он высокомерно, – Я двадцать... двадцать одно сражение произошел.

– Многоныко! – сказал моложавый старик, одетый в полушубок и подпоясанный ярким поясом.

Он хоть принадлежал к гостям почетным, так как сидел на лавке, свободно развалился и вытянув ноги, но, видимо, намеревался поддержать оппозицию.

Но это не смутило Федора.

– Некоторые люди за печкой сидят, другие кровь проливают, – отвечал он, адресуясь прямо к моложавому старику. – Война идет не день и не месяц, а годами исчисляется. Так тут и не двадцать, а сорок сражений бывает. А на море-океане всего хуже. Тут каждый день смерть. Ежели от огня уцелеешь, в воде потонешь. А погода такая бывает, что корабль так с боку на бок и валится, вещи со столов все летят, а люди, как шары в ящике, катаются. И все нутро им выворачивает.

В избе стало тихо, и даже хозяйка, вынувшая из печки рыбник, так и осталась стоять с деревянной тарелкой в руках.

– Ветра там четыре, – продолжал очень довольный таким вниманием Федор, – спереди – галфин, справа – фордевин, слева – бейдевин, а сзади так вовсе бакштаг. И как сразу все задуют, так весь океан, ровно котел, закипит, и волна тогда выше колокольни и идет на тебя, как гора.

Все гости, не исключая оппозиции, глядели Федору в рот, видимо пораженные нарисованной им страшной картиной. А Федорпил кружку за кружкой, и мрачная его фантазия разыгрывалась все сильнее.

Корабли в пламени, гул такой, что лопаются уши, на палубах – горы трупов, кровь течет за борт. Воздух стонет от жалости и скорби. А турки, взывая к Магомету, молят о пощаде. Только Федор, не зная страха, учит бесстрашно других.

– У всех душа мрет. А я ничего, привык... – охрипшим от вдохновения голосом говорил Федор, разматывая шейный платок.

– А барин что? – вдруг спросил «цыган».

– В самом деле, Федор Никитич, – поддержал моложавый старик. – Ведь, сказывают, это барин наш всех турков побил.

Федор удивленно посмотрел на старика. Он так увлекся, что ему казалось, будто в страшных событиях, нарисованных им, не было других участников, кроме него самого.

– Барин? – повторил Федор. – Барин – он тоже сражался... ничего... изрядно...

Федор упустил нить своих мыслей. Он почесал подбородок, выпил еще кружку пива и хотел было начать снова. Но взглянул нечаянно на дверь. Там среди клубов морозного пара, врывавшегося из сеней, стоял адмирал.

Лицо Федора сначала побелело, потом налилось кровью. Он не мог отдать на посмеяние свое торжество, может быть, то единственное мгновение, когда люди верили, что он большой человек. Грубая, бессмысленная дерзость готова была сорваться с языка Федора, как только Ушаков уличит его во лжи.

Но адмирал сказал весело и дружелюбно:

– Федор Никитич у нас герой. Во всех сражениях участвовал. Не каждому человеку так много видать довелось.

Люди вскочили с лавок. Староста кинулся к барину.

Его жена и дочь, одергивая сарафаны, побежали за ним, как утки за селезнем. Лишь Федор остался на месте.

Крестьяне кланялись, наотмашь закидывая назад густо заросшие затылки. Староста целовал адмирала в плечо, а женщины плакали, вытирая лица концами платков и фартуков.

Адмирала повели к столу. Староста шел, пятясь задом, кланялся и приговаривал ласковой скороговоркой:

– Не побрезгуйте, батюшка, откушайте.

Женщины метались, впопыхах искали чистое полотенце. После долгой беготни жена старосты, вся пунцовая, шумно дыша, поднесла Ушакову чарку водки и закуску.

Адмирал хотел быть веселым, но в эту полутемную крестьянскую избу вошла вместе с ним и та унылая тоска, которая сопровождала его всю дорогу и в которой тесно переплелись и опасения за Непенина, и арест Новикова, и толпы голодающих на станциях и в пути. Ушаков много видел на своем веку, но изба старосты все же поразила его своей духотой, теснотой и глядевшей отовсюду бедностью. А ведь староста был состоятельным человеком в деревне. Как же тогда жили другие?

Огромная неуклюжая печь занимала, как и в барском доме, едва ли не третью часть всего помещения. Топили ее, как обычно, по-черному и стены вверху были покрыты блестящей, уже не пачкавшей руки копотью. Тусклый свет падал из оконца, затянутого бычьим пузырем. На холодном земляном полу ползали полуголые ребятишки, Испуганный общей суматохой теленок засеменил в темноту, где торчала солома, а из-под печки выглянули и тотчас спрятались тощие куры с лиловыми головами. Недалеко от печи висела люлька, похожая на галочье гнездо. Из нее, из-под кучи тряпья, тонкий голосок тянул непрерывное: а-а-а!

Неурожай не коснулся Темниковского уезда, и Ушаков надеялся, что крестьяне, с которых он не брал даже оброка, живут лучше других. А оказалось, что действительность не имела ничего общего с оптимистическими предположениями адмирала.

– Давно не видались, – говорил он. – Состарились все, никого не узнаю.

Он стал угадывать в бородатых мужиках своих прежних сверстников, с которыми когда-то бегал ловить рыбу и ставить силки.

– Постой, постой, – говорил он, вытирая платком губы, – ты, что ли, Михай?

Невысокий плотный крестьянин с кривым глазом сконфузился от общего внимания и от того, что барин ошибся.

– Никак нет, ваше превосходительство, Михай помер давно. Он был с роду кривой, а я лет пять как глаз в лесу попортил, сучьем выкололо.

Взгляд Ушакова затуманился.

– Как далеко все ушло! Как далеко! – покачивая головой и переводя глаза с одного лица на другое, бормотал адмирал и вдруг радостно воскликнул: – Теперь не ошибусь! Цыган! Савка! Савва!

– Он самый, батюшка, он самый! – отвечали все разом.

А Савва мял шапку и кланялся.

– Ведь мы с тобой на старых воротах по речке плавали, – рассмеялся Ушаков.

– Это точно, – ответил Савва.

То, что барин вспомнил пору мальчишества, видимо, доставило всем большое удовольствие. Многие бородачи стали наперебой подсказывать различные случаи из прошлого, в которых Ушаков участвовал подростком.

Адмирал мельком оглянулся на Федора. Тот стоя тянул из кружки. Он один ничего не вспоминал.

– Ну, а как ты живешь? – спросил Ушаков Савву.

– Хорошо, – отвечал Савва.

Он искренне так думал, потому что были люди, которые жили хуже. Случилось как-то ему сломать руку. Для рабочего человека это было настоящим бедствием. Но Савва вспомнил, что его сосед однажды упал с крыши, когда менял на ней сгнившую солому, и сломал обе руки. Разумеется, лишиться на время одной руки гораздо лучше, чем двух, и Савва почел себя счастливым. Его житейская вера и заключалась в том, что каково бы ни было его положение, могло быть хуже, а потому надо быть довольным тем, что есть.

Однако, когда он сказал, что живет хорошо, староста только покачал головой, а румяный старик в полушубке сказал:

– У него рыбка да рябки берут красные деньки.

Как человек серьезный, старик полагал, что такое ничемное занятие, как ловля рыбы и охота, вредит хозяйству, порой даже и вовсе его разоряет. А Савва имел к этим занятиям неодолимую страсть, поэтому не только старик, а и другие хорошие хозяева относились к Савве с некоторым пренебрежением.

Старик в полушубке степенно расправил бороду. От него так и веяло здоровьем, морозом и затаенной, осторожной тишиной. Человек этот, видимо, ничего не говорил зря, людей видел насквозь, но принимал порой какой-то благодушно-пряничный вид эдакого доброго и недалекого деда, у которого нет другого дела, как нянчиться с внуками и рассказывать им сказки. Но его голубые холодноватые и, несмотря на годы, ясные глаза не оставляли сомнения в том, что сказкам этот человек не верит и не тешит ими ни себя, ни других. Он, как потом узнал Ушаков, даже не очень «прилежал» к церкви, считая всех духовных особ тунеядцами и лентяями. Он и составил себе убеждение, что все зло на свете происходит от неволи, которая тяготеет над простыми людьми, и от лени, равно присущей всем сословиям. Свою большую семью он день и ночь «морил» на работе, имея в виду одну цель: когда-нибудь откупиться на свободу вместе с сыновьями, невестками и внуками.

Адмирал своих крестьян не притеснял, и жить было можно, но человек не вечен, особенно хороший, и имение должно было перейти после его смерти к его брату Ивану Ушакову, которого старик считал сквалыгой, и тогда житье пойдет каторжное. Поэтому старик торопился прикладывать копейку к копейке, гривенник к гривеннику. И воля и руки у него были железные, и никто, кроме старшего сына, не знал, где хранит он скопленные деньги.

– А скажите, батюшка, ваше превосходительство, как насчет войны? Будет ли, нет в нынешнем году? – спросил он деловым и в то же время наивным тоном пряничного деда.

– Точно сказать не могу, – ответил адмирал. – Но французы очень того желают и всячески направляют на нас султана. Думаю, что этот год пройдет спокойно.

– Так, батюшка...

И в уме старика, вероятно, зашевелились привычные хозяйственные соображения.

– А как вы, батюшка Федор Федорович, турок били? – спросил староста. – Мы о том не раз слышали.

Староста очень любил слушать о войнах и всяких важных событиях, и когда говорил с людьми, ему равными, то высказывал замечания «согласно своему рассудку». А свой рассудок он считал не последним.

«Как я им объясню? – подумал Ушаков. – Ведь это не канониры и не служители. Они и моря никогда не видали».

Но он оглянулся на теснившихся у двери ребятишек и весело крикнул:

– А ну-ка, ребята, кто из вас самый резвый бегун... сбегай ко мне да принеси бумагу, перо и чернила! Живо!

Стайка ребят мигом вылетела из избы.

– А шведы-то нынче как? – продолжал любопытствовать старик в цветном кушаке. – Притихли?

– Притихли, – сказал адмирал. – Не только замирились с нами, но и союз заключили на случай нападения общего врага.

О каком враге шла речь, он объяснять не стал, так как считал вредным разговаривать с крестьянами о французских «якобинцах», свергнувших своего короля. Его очень интересовало, слышали его крестьяне что-нибудь о французской смуте или нет, но лучше было оставить это неясным, чем тревожить их умы такими опасными по теперешним временам вопросами.

Когда ребятишки с шумом ворвались в избу и торжественно вручили адмиралу бумагу и чернила, большой крепкий стол, за которым могли разместиться разом двенадцать душ, заскрипел и застонал от навалившихся на него людей.

Привычной рукой Ушаков уже рисовал на бумаге крупные фигуры, изображавшие корабли.

– Вот это наши, а это вот турецкие корабли, – объяснил он. – Это вот песчаная коса Тендра. Корабль с флажком – наш главный корабль, флагманом называется. Тут мы с Федором во время сражения были. А это вот корабль турецкого адмирала.

И Ушаков рассказал слушателям о сражении у Тендры и Гаджибея, о том, как очутился один русский корабль среди турецких и как командир его обманул турок, как бежали и сидели на мель турецкие корабли и как взлетел на воздух главный турецкий корабль «Капудания».

Несмотря на то, что адмирал говорил очень просто и не рассказывал ни о горах трупов, ни о реках огня, ни о разверзшейся морской бездне, его слушали с напряженным вниманием.

Задавать вопросы осмелился сначала только староста. Он нерешительно ткнул пальцем в турецкий адмиральский корабль и сказал:

– Значит, дали ему жару? А?

– Дали, Савелий Иванович, – ответил адмирал. – В этом была и задача, чтобы прежде всего главный турецкий корабль уничтожить.

После этого осмелел и молодежавый старик. Крепкий палец его тоже задвигался по бумаге.

– Ловко это, батюшка, придумал ты главных начальников у турок бить! Чтобы соображения и порядку у них не стало. Значит, тогда все они и побежали.

– Верно, дедушка, говоришь. Без соображения и порядку сражения вести нельзя.

За стариком осмелели другие: смотрели в план сражения, начерченный Ушаковым, интересовались подробностями. Всем хотелось знать, где сражался тот или иной русский корабль и какой урон нанес неприятелю.

Более энергичные слушатели оттеснили Савву от стола. Он поднялся на носки, вытянулся и жадно глядел в бумагу.

– Очаков-город, где он тут?

При этом веки его задрожали, а темные пальцы стали быстро тереть костылек, заменявший пуговицу на его кафтане.

– Очаков – вот он, – сказал адмирал, рисуя на карте неровный кружок. – Зачем тебе именно Очаков, Савва?

– У него там сын от ран помер, – сообщил кто-то. – В гренадерах служил.

А староста, как бы поясняя, добавил:

– Тоже свою сторону защищал его-то Григорий. Ладный такой парень был.

Адмирал пристально посмотрел на Савву, все еще тянувшегося к бумаге, чтобы дотронуться до кружка, обозначавшего Очаков.

– Дай бог всякому умереть такой почетной смертью! – сказал Ушаков.

И за спиной у него тотчас же послышался многоголосый дружный говор:

– За свою сторону помереть не страшно.

– Ежели солдата убьют в сражении или ему от ран помереть придется, душа его прямо в рай идет, – убежденно сказал старик в полушубке. В это он твердо верил и считал, что его отец, тоже солдат, погибший во время похода Миниха, причтен к лику мучеников.

И беседа о турках, о войнах и о значении Черноморского флота для русского государства стала еще оживленней.

Когда Ушаков в сопровождении Федора и Саввы вышел из избы старосты, был вечер. На небе зажглась первая, еще одинокая, зеленая звезда.

Деревня утопала в сугробах. Кое-где в маленьких подслеповатых оконцах желтели огоньки лучин. А вокруг на многие версты стлы белые снежные косогоры, бежали во все стороны поля, да темнели вдали узкие полоски леса.

Какой-то невнятной, невысказанной печалью веяло от знакомой родной картины. И адмирал, словно подбадривая себя, старался тверже шагать по тропинке, протоптанной среди сугробов к барскому дому.

Странным казалось ему, что именно здесь, среди бедных полузанесенных изб, у простых людей, он находил настоящий искренний интерес к тому делу, которому посвятил себя. Люди эти жили тяжелой трудовой жизнью, не оставлявшей для них ни одного праздного часа, но они все-таки думали не только о шлеях, как делал это его родной брат, и не только о своих выгодах и благополучии, как те вельможи, которых он видел в Петербурге.

Стало скучно от одной только мысли, что сейчас он придет домой, к брату, увидит его беспокойные, бегающие глаза и услышит нудный, жалующий голос.

Эх, скудеет, видно, все-таки русское дворянство, на котором лежат главные заботы о делах Российского государства. Но, слава богу, велика русская земля и нет числа в ней людям, пекущимся о благополучии и славе отечества.

Адмирал остановился посреди улицы и спросил Савву:

– А ты помнишь, как мы с тобой да с прежним старостой ходили на медведя?

– Как не помнить, – улынулся Савва. – Я и теперь хожу. Недавно берлогу высмотрел. Надо быть, медведь матерый.

– Так и я пойду с тобою, – решил адмирал, радуясь неожиданной возможности сократить срок свидания с братом.

Уехать теперь же было неудобно, в то же время он не мог представить себе, что придется изо дня в день выслушивать жалобы и попреки брата Ивана. Да и возможность побывать на охоте так увлекла его, что, если бы не позднее время, он отправился бы в лес сейчас же, не заходя домой.

– Пойдем, Федор, поутру на косолапого, – не без хитрецы в голосе предложил старому слуге адмирал. – Покажешь, сколь отважен стал после двадцати морских баталий.

И весело засмеялся, глядя на обескураженного Федора.

## 12

Прошло более двух месяцев с тех пор, как Ушаков покинул Петербург. В Екатеринославе снег уже стаял, и начинала зеленеть степь. Похоже было, что за Днестром стлался зеленый дым. В воздухе чувствовалась влага, и дороги еще не пылили.

Оставив денщика и Федора на станции стеречь поклажу, Ушаков отправился обедать в трактир. Там хозяин обещал ему такого гуся, какого вряд ли едала сама царица. Гусь, очевидно, еще плавал в большой луже, подходившей к заднему крыльцу трактира, так как ждать его пришлось очень долго. Чтоб время не казалось его превосходительству слишком длинным, хозяин почтительно предложил себя в собеседники. По четкому, несмотря на возраст, шагу и по привычке прямо держать плечи Ушаков угадал в нем бывшего солдата.

Трактирщик подтвердил, что был унтер-офицером и участвовал в первой турецкой войне. После боя при Кагуле он приобрел кое-что в брошенном бежавшими турками лагере, скопил деньжонок и, отслужив, поселился здесь. Это, по его словам, было ошибкой, но он уже считал себя слишком старым, чтоб начинать жизнь заново на другом месте.

– Почему ты считаешь это ошибкой? – спросил адмирал.

– Светлейший князь городу сему несметные богатства предрекал, а сами изволите видеть, что и за город такое место считать нельзя. Когда звали нас тут селиться, царство небесное сулили. Вот отсюда его и видно.

Бывший унтер-офицер, усмехнувшись, указал на широкую улицу, затопленную жидкой грязью. Кругом расстилалась степь, покрытая зеленым пухом, как ягненок первой шерстью. Но куда ни хватал глаз, она была пустынной, и только ястреба парили в небе, высматривая добычу.

В полуверсте от Днестра, там, где, наподобие крепостного вала, поднималась гора, теснились белые домики. Их насчитывалось десятка три, и почти все они были крыты соломой. Две церкви с красными колокольнями, похожими на высоких баб в сарафанах, стояли на голом скате. Лишь на горе виднелись большие каменные строения.

– Спервоначалу город на той стороне был, – объяснял хозяин. – Основали его после турецкой войны и селиться звали. Не разочли только, что весной все мы словно Ной в ковчеге. Река на десяток верст кругом все заливает. Сам начальник околъ своего дома бывало в корыте плавал.

Старый унтер-офицер хоть и говорил спокойно и тихо, но под его длинными седыми усами то и дело мелькала злая и презрительная усмешка. Он, как видно, имел большой опыт, убедивший его в том, что глупости начальников никакого предела не положено. И пусть бы они дурили, как им в голову придет, да люди, которые от них зависят, расплачиваются собственными карманами.

– По причине такого неудобства, что река заливает, город оставлен без внимания, и начальство все в Кременчуг перевелось. Потом опять передумали и велели нам сюда, на этот берег, переселиться, – заметил хозяин и почесал в затылке с явным неодобрением.

– Но ведь там заливало город, а здесь берег выше, – сказал адмирал, сам не понимая, почему его раздражало все, что говорил этот обрюзглый и сварливый человек. Ушаков знал историю города, и старый унтер-офицер ничего нового к этой истории не прибавил. Возможно, что адмиралу не нравился тон его речи, а потому были неприятны и его жирные плечи, и потное лицо, и холодно-жесткий взгляд, взгляд человека, который уже не намерен обманываться никакими обещаниями.

– Это точно, что не заливают здесь, – усмехнулся хозяин, – да только дом на закорках не перенесешь, все заведение тоже. За перевоз надо деньги платить.

– Да ведь казна деньги платила, – снова возразил Ушаков, едва сдерживаясь, чтоб не сказать резкого слова.

– Казна, ваше превосходительство, платить обещала. Только вот уже пять лет прошло, как никто гроша не видал, да и еще столько пройдет. Сулили, это точно.

Говорил он без малейшего опасения, видимо решив, что его гость хоть и адмирал, но, как видно, не из знатных, так как не было с ним ни карет, ни челяди, а старый мундир, надетый в дорогу, в двух местах был не очень искусно заштопан.

– А что там за строения на горе? – спросил адмирал, чтоб покончить с неприятным разговором.

– А это дворец, ваше превосходительство. Государыня две ночи в нем ночевать изволили, – самым простодушным тоном сказал трактирщик, но в голосе его слышалась откровенная насмешка. – А это вон дом губернаторский, сады при нем аглицкие.

– Разве губернатор здесь живет?

– Никак нет. Дом так стоит.

– Ну, так ли он стоит, этак ли, а обедать пора. Скоро ли у тебя?

– А сейчас, ваше превосходительство.

Не выразив ни удивления, ни неудовольствия на крутой поворот беседы, хозяин вышел из комнаты. Адмирал проводил его неприязненным взглядом и тут же решил, что этот человек, несомненно, обирал всех, кто имел с ним дело, недаром он столько заломил за гуся. Нет, ничего, видно, не осталось в этом грязном толстосуме от бравого солдата.

После обеда адмирал отослал почти целиком оставшегося гуся на станцию своему Федору и денщику, а сам пошел осматривать город, о котором рассказывали так много дурного.

Широкая немощеная улица вела к каменным строениям на горе. Домики были разбросаны, словно их сдуло с горы ветром. Только лавки и амбары выстроились в строгом порядке, рядами, друг против друга. Лавки были темны, свет в них проникал через открытые двери. На помосте со ступенями, шедшем вдоль каждого ряда, играли ребятишки и суетливо деловой походкой сновали куры.

На пороге одной из лавок сидел плотный молодой лавочник, положив голову на колени румяной белокурой женщине. Женщина с озабоченным и серьезным лицом, придерживая зубами кончик развязавшегося платка, искала у мужа в голове.

Недалеко от них отдыхал слепой нищий, с бандурой за спиной. Он ел хлеб, короткими рывками отламывая, куски, и тогда струны бандуры звенели, словно спросонья. Мальчик-поводырь спал на земле у ног нищего.

Пока адмирал шел вдоль рядов, он не встретил ни одного покупателя. Потом потянулись плетни и выбеленные домики дворян и купцов, отличавшиеся друг от друга только размером. Многие из них были окружены небольшими садами с вишнями и яблонями. Почти все пространство вокруг города занимали бахчи, сейчас еще черные и безлюдные. Скучны были широкие немощеные улицы, скучен весь городок, явившийся на свет по мановению властной руки Потемкина и уже забытый теми, кто вызвал его к жизни.

Сокращая расстояние, Ушаков поднялся на гору не по улице, а напрямик по молодому лопуху и чуть высунувшейся из земли крапиве, которую яростно пожирала поросята.

Вскоре адмирал очутился перед двухэтажным зданием дворца настолько легкой и гармоничной архитектуры, что казалось, материал, из которого оно было сооружено, потерял свою реальную тяжесть. Дворец выступал вперед полукругом. Его карниз, изображавший бой богов с титанами, поддерживали простые, дорического ордера, колонны. От колоннады шли белые ступени. Высокие двери были открыты настежь, и, что сразу поразило адмирала, сквозь них блиснула яркая гладь Днепра, словно дом был прозрачным.

Он действительно был таким. В окнах его не осталось ни стекол, ни рам. Солнечный свет свободно гулял по залам. Крыша светилась, словно ночью звездное небо, столько в ней было дыр. И все время гремело и скрипело вверху оторванное железо. На полу лежали куски

отвалившейся штукатурки, на одной из которых была видна гипсовая рука, державшая конец вьющейся гипсовой гирлянды.

Ушаков переходил из одного зала в другой. Под ногами его хрустела известка, а над головой с тревожным криком металась ласточка. В одной из комнат еще висела люстра, вся покрытая птичьим пометом, в другой лежало сено и старый котелок с прогоревшим дном. Здесь, как видно, даже разводили огонь, потому что лежали угли и почернела стена.

Адмирал вышел на террасу. Между плитами белого камня пробивалась трава. Стуча быстрыми копытцами и роняя орешки, шарахнулись овцы. Огромный сад с каштанами, персиковыми и абрикосовыми деревьями давно засох, порос бурьяном. Среди этого разрушения прекрасным было одно: спокойный широкий Днепр в своем бесконечном степном ложе. С берега его струился дымок, и в просторе чистого синего неба носились ястреба.

Адмирал сел на ступени террасы. Овцы быстро жевали траву и смотрели на него серозелеными, похожими на пуговицы глазами. А когда им надоело смотреть, они ушли, переключаясь резкими дребезжащими голосами, напоминая старческий смех.

Ушаков еще раз взглянул на прекрасное здание дворца, как видно, созданное большим художником на одну только неделю, а может быть, даже на день, ибо Потемкин мог себе позволить роскошь, выкинуть на ветер труд сотен и тысяч людей, миллионы рублей.

Адмирал почему-то вспомнил, как потемкинский флот впервые вышел в море. Тяжелые корабли из сырого дерева, их расшатавшиеся в бурю борты, лопающиеся фордуны, рвущийся такелаж и приказ светлейшего атаковать, «хотя всем пропасть». И Ушаков и все, кто был тогда с ним, не боялись пропасть, но почему же все-таки о них так мало думали? Почему так дешевы люди на Руси? И как изменить все это? Как сделать, чтобы поднялась цена человеку? Как сделать, чтоб его труд не растранижировался так бессмысленно, как затрачен он на этот дворец?

Днепр потемнел, побежала рябь по его глади. В саду закачались опутанные рваной паутиной яблони и засохшие персиковые деревья.

Совсем близко послышался звук задевшей струны, неожиданный и странный среди безлюдья.

Адмирал прислушался. Звон повторился совсем близко. Из-под горы вышел бандурист со своим поводырем. На коричневом лице мальчика блестели серые испуганные глаза. Он что-то быстро пробормотал слепцу. Старик поправил гайтан на запекшейся, как картофель, шее и остановился с видом безразличной покорности.

Мальчик почесал грудь, раздумывая, уйти или подождать, пока удалится неожиданный посетитель.

Адмирал понял, что это и есть обитатели дворца, боящиеся при нем войти в свое жилище.

– Проходите, проходите, я сейчас уйду, – сказал адмирал.

Он опустил руку в карман, и мальчик улыбнулся доверчивой и вместе лукавой улыбкой, какой когда-то улыбнулась Ушакову маленькая Алимэ. И вдруг нестерпимо острое чувство тоски о том, что это мгновение ушло в какую-то непомерную даль, кольнуло душу Ушакова. Даль эта почему-то измерялась не прошедшими годами, а была похожа на синее небо, везде одинаково пустое и непроницаемое для глаз. Что это было? Прежде адмирал никогда с такой остротой не жалел прошлого.

Он протянул мальчику несколько медных монет. Тот опять что-то шепнул старику, и они сели на нижнюю ступеньку.

Адмиралу не хотелось говорить, но как-то неудобно было не спросить старика о его жизни.

Слепой словно только этого и ждал. Он, видимо, сам любил рассказывать и говорил так плавно и гладко о прошлом, как говорят старики всегда об одном и том же и всегда в одних и тех же выражениях. Он даже посмеивался над собой, и шутки его, повторяясь десятки раз, не

надоедали ему. А мальчик развлекался тем, что, лежа на животе, кидал в ласточек камешками и каждый раз, давая промах, искоса взглядывал на адмирала.

Оказалось, что старик был из экономических крестьян Владимирской губернии. Когда монастырские земли перешли к казне, надел его оказался меньше, чем было положено на душу.

– Уж как там считали, один Господь ведаёт, – говорил старик, сокрушенно качая головой. – Что будешь делать? Считали все люди ученые, ну и высчитали так, что хоть сей, хоть так поглядывай.

Он приостановился, желая дать адмиралу время посмеяться.

– Тут как раз пошел разговор, что зовут людей селиться на Украину. Земли сколько хочешь, и хозяев нет.

А как старик ушел на Украину, он предпочитал не рассказывать. На Украине, точно, земли было много, но для людей, что пришли туда почти с пустыми руками и с одной лошадей, предстояли годы бесконечного и томительного труда. Вставали затемно и затемно ложились. Двое – сын и дочь – умерли. Те, кто выжил, дождались лучшего.

– Начальник, который землей оделял, тогда был строгий. Присказки всякие любил. Так и тут говорит: «Хошь бери, хошь нет. А по мне, дают – бери, а бьют – беги». Во все ноги, – добавил старик уже от себя и снова подождал, чтоб адмирал оценил шутку. – У меня руки были умные до ремесла, что погляжу, все сделаю, – продолжал старик. – И дом соорудить, и телегу изладить или, скажем, кожи выделывать, и другое что – все умел.

У него уже было полное хозяйство, когда пришли солдаты и велели выселяться к Днепру, где строились новые города и деревни на пути следования императрицы.

– Тут уж все прахом пошло. Не мог подняться, стар стал. Сыновья потом в Крым подались, кто куда. А я тут еще глаз повредил. Дрова колот – щепка попала. Сколько колот – ничего, а тут беда такая! И не знаю, как случилось. Говорят люди, темная вода. А кто его знает? Другим-то глазом хоть и худо, а вижу... Только людям не сказываю, как бы не обиделись. Смолodu-то веселым был, для забавы на бандуре играл, а теперь вот так и кормлюсь.

– Мальчик-то внук тебе?

– Дочери меньшей сын. Тут болезнь прилипчивая ходила и дочь и зятя в одночасье прибрала. Помирать-то бы мне, – вздохнул бандурист, – да, видимо, нагрешил много, земля не берет.

И он подмигнул адмиралу странно веселым, но уже мутневшим глазом. Если б старик плакал, жаловался, рассказ его не произвел бы такого впечатления, как теперь с этой болтливой веселостью. Может быть, веселость эта защищала его от уныния, может быть, он надеялся ею выманить лишний пятак.

– В крыльцах<sup>1</sup> тягость ношу, – сказал он. – Словно котомку на спине таскаю.

И старик зевнул, крестя рот и прикрывая его темной, словно выпачканной в золе ладонью.

Адмирал связывал узлом две крепкие и тонкие травинки.

В делах светлейшего князя Потемкина далеко не все было прекрасным. Чудовищным был этот город, построенный по единому капризу, ради двух ночей, проведенных в нем «матушкой Екатериной». Когда прошли эти ночи, он был забыт. А как пышен был город, когда его наносили на карту. А за ним десятки деревень с арками и цветами, куда сгоняли людей, чтоб деревни казались живыми. Десятки тысяч статистов в опере, сыгранной один раз! Из окон карет, с золоченых императорских барок новоприобретенный край казался богатым и цветущим, как Эдем<sup>2</sup>. Князь подготовил этот обман, а императрица приняла его, так как поверить, что народ счастлив, очень легко, трудно на самом деле сделать его счастливым.

---

<sup>1</sup> В лопатках.

<sup>2</sup> Рай.

Ушаков встал. Днепр чуть набегал на чистый холодящий песок. Рябь на реке струилась, как в розовое сито. Паутина, похожая на куски рваной кисеи, висела на ветвях мертвых яблонь. И полуразрушенный дворец, казалось, дремал той же дремой, как и сидевший на его ступенях нищий старик бандурист.

## 13

Первое известие, которым встретил Ушакова Севастополь, оказалось нерадостным. Командир фрегата, шедшего из Херсона, капитан Куликов принял случайные огни за свет маяка. В бурную, с ливнем и ветром, штормовую ночь фрегат приткнулся к банке. К великой радости Куликова, повреждений было обнаружено мало. Их исправили, и фрегат благополучно достиг Севастополя.

Капитан уже готов был возблагодарить судьбу, но едва фрегат занял место на рейде, как в трюме была замечена течь. Трюм очистили с правой стороны, осмотрели борт и ничего опасного не нашли. Нужно было исследовать подводную часть. Фрегат отвели к пристани, накрепили на левый борт и начали заделывать трещины в обшивке, около кормы. Обшивку вскоре залатали, но вода продолжала прибывать. Тогда Куликов приказал отдать гини, чтоб поставить фрегат прямо. Увы, время для этого было упущено, и, отягощенный непосильным грузом, фрегат сел на грунт возле самой пристани. Вода покрыла левый борт до юферсов.

Докладывая о постигшем его несчастье адмиралу, Куликов водил пальцем по морской раковине, стоявшей на письменном столе. Капитан имел пристрастие к щегольству, особенно к галунам и золотому шитью. Поэтому на его собственной шляпе и кафтане галуны были шире, чем полагалось. За этим строго не следили, и Ушаков ограничивался тем, что называл кафтан капитана поповской ризой. Адмирала больше раздражал бриллиантовый перстень и суровая нитка под ним на безымянном пальце капитана. Нитка предназначалась для того, чтобы излечить Куликова от ячменя. Ячмень этот появился на левом глазу как раз в тот день, когда фрегат сел на дно. Он окончательно убедил капитана в том, что ему не везет в жизни.

Куликов всегда думал, что людские усилия, в сущности, ничего не значат. Если человеку везет, то и усилий никаких не надо, а если не везет, то никакое служебное рвение все равно не поможет. Ему страстно хотелось ухватить это таинственное везение, скользкое и верткое, подобно налиму. Но так как предполагалось, что оно дается ни за что и отнимается без всякой причины, то оставалось только ждать и надеяться. Теперь же капитан испытывал ту сосущую тоску, какая свойственна подчиненному, ожидающему выговора, а может быть, и чего-нибудь худшего.

По нескольким словам, произнесенным адмиралом, Куликов понял, что капитан над портом Доможиров побывал уже здесь. По-видимому, он доложил Ушакову о несчастном происшествии со всеми подробностями, так что скрыть что-нибудь уже не было никакой возможности.

Глаза у адмирала были злые и светлые, а коричневые веки делали их еще светлей.

– Вы понимаете, сударь, что конфузия с фрегатом позорна? – сказал Ушаков, дослушав объяснения капитана.

– Гини, ваше превосходительство, были недоброго качества.

– Скажите лучше, что качества командира заставляют желать лучшего.

– Это дело вашего превосходительства так судить, – сказал Куликов с обидой.

– Да, мое, сударь. Я виню вас не за повреждение судна во время шторма, а за то, что вы утопили его у пристани.

– Несчастья, преследующие меня всю мою жизнь...

– Несчастья преследуют всегда тех, кто мало думает о своем деле. Сколько дней употребили вы, чтоб исправить положение фрегата?

Служебная тоска капитана Куликова дошла до своего апогея.

– Две недели, ваше превосходительство, – произнес он. – Меры, принятые мною...

– Две недели? Вы и в бою столь же рачительны?

– Времена военные и времена мирные... – с некоторой развязностью начал Куликов, вспомнив о своем покровителе адмирале Мордвинове.

Но Ушаков ударил рукой по столу.

– Для солдата нет разницы в сих временах! Заяц мирного времени не взлетит орлом, когда загремят пушки. Даю вам два дня, чтобы поставить фрегат прямо. Завтра я сам побываю на киленбанке<sup>3</sup> и, может быть, убавлю еще этот срок. Ступайте.

Капитан Куликов прижал к груди свою шляпу.

– Ваше превосходительство, силы человеческие имеют свои пределы.

– Они мною измерены. Вам дан приказ. Извольте выполнить.

Спускаясь по деревянной лестнице адмиральского дома, капитан Куликов остро сожалел о том, что раньше не сменил Севастополя на Херсон или Таганрог. Там высшее начальство отличалось спокойствием и неторопливостью. А эти два качества, если поразмыслить, только и создавали условия, при которых могло повезти благовоспитанному человеку.

«И зачем я опять просился сюда? – мысленно восклицал капитан. – Ведь я всегда знал, что это не начальник, а гарпия! Он весь карьер мой загубит».

«Туфлей»<sup>4</sup>, – думал о нем в это время адмирал, с сердцем швыряя друг на друга разьевавшиеся по столу книги.

Он крикнул денщика, велел ему взять некоторые из петербургских покупок и положить их в бричку.

– Мы поедem к Петру Андреевичу. Живо! Сам он поспешно прибрал на столе бумаги, завязал шейный платок тугим бантом и сбежал по лестнице, гремя башмаками.

– Не спи! Трогай! – крикнул он сидевшему за кучера денщику и впрыгнул в бричку.

Бричка затряслась и запылила по улице.

«А ведь город-то как вырос! Ну кто подумает, что здесь было когда-то маленькое селение Ахтиар!» – вдруг с удовольствием подумал адмирал, когда перед ним на несколько минут открылась панорама Севастополя.

Ушаков так привык к городу, что прежде не замечал в нем перемен. Теперь, после нескольких месяцев отсутствия, он как будто заново открывал его.

Адмиралтейство с деревянным шпилем, если не рассматривать его слишком пристально, очень походило на петербургское. Аккуратно выглядели и казармы с черепичной крышей и выбеленными стенами. Дома среди густых разросшихся садов были окутаны пахучим облаком весеннего цветения. Местами облако это розовело, словно за строениями вставала заря. Это цвел бобовник, и цветы его густо покрывали еще безлиственные ветви.

Вот и госпиталь, на постройку которого адмирал положил столько трудов. Вон он сияет чистыми промытыми стеклами, и даже отсюда видно, что ни на нем, ни около него – ни пылинки. А внизу, по берегам бухты, шли магазинны, пристани, лежали штабели леса. При виде всего этого хочется строить, работать, создавать новые планы и осуществлять старые.

«А тут люди топят фрегаты у пристаней. Ну зачем этот Куликов пошел служить на море? Нет у него ни способностей, ни любви к делу. Шел бы себе, белоручка, в консисторию или в интендантство. И ему было бы хорошо, и у других бы под ногами не мешался».

Тут бричка свернула к морю и остановилась у крылечка маленького дома Непенина. Хозяин сидел у открытого окна, выходящего в палисадник, в белой рубашке, с измятой на груди плиссировкой. Закинув голову на спинку кресла, он мирно спал, и слабый ветер сбрасывал в палисадник одну за другой страницы лежавшей на подоконнике рукописи.

– Петр Андрееч! Проснись! – весело крикнул Ушаков.

Голова Непенина дернулась, он качнулся всем телом и уронил очки.

---

<sup>3</sup> Глубокое место у берега с необходимым оборудованием для килевания судов.

<sup>4</sup> Растяпа.

А Ушаков уже вбегал в сени, где столкнулся со старухой, которая вела скромное хозяйство ахтиарского ученого. Непенин, шутя, звал ее Локустой, в честь знаменитой составительницы ядов, которая помогала многим римлянам избавиться от их врагов. Добродушная экономка Непенина не имела в характере ничего злодейского, но готовила так плохо, чтостряпню ее выносили только такие закаленные люди, как Непенин.

– Каждый день ем ее обеды и ничего, жив пока, – отзывался о ней хозяин. – Но хороша тем, что незаметна, как тень, и работать не мешает.

Локуста жила у него уже десять лет и, кажется, тоже привыкла к своему нетребовательному господину.

Непенин обхватил адмирала подмышками, Ушаков его – за голову, и они троекратно расцеловались.

Потом сели друг против друга и разом заговорили:

– Ты не поверишь, как я счастлив тебя видеть, – сказал адмирал. – Сколько раз я вспоминал тебя там, сколько раз удивлялся тому, что ты всегда прав.

Непенин шарил вокруг, отыскивая очки.

– А я тут жил, как немой. Это очень трудно тут без тебя. Ушаков похлопал его по руке и крикнул в окно:

– Степан, давай все сюда!

Он сам развязывал мешок и вынимал один за другим подарки.

– Это вот тебе сапоги домашние... Зимой ведь у нас здесь в домах сыровато. Это парик новый, а то твой на войлок стал похож. Чай тут, Локусте на платье...

Непенин улыбался радостной улыбкой, трогал вещи и даже клал их себе на колени. Он был близорук и рассмотреть их не мог.

– А вот, – торжественно сказал Ушаков, поднимая мешок, – это книги.

И Непенин набросился на них, как хищник на добычу. Адмирал помогал ему вынимать книги, а Непенин оглаживал их переплеты, жадно листал страницы. На лице его все более проступала тревога.

– Ты что, Петр Андреич? – спросил Ушаков.

– Очки, очки куда-то запропастились!

И Ушаков, и денщик его, и сам Непенин стали ощупывать кресло, пол, подоконник.

– Куда они могли подеваться! Сейчас найдем, – говорил Ушаков.

После довольно длительных поисков денщик вдруг сделал предупреждающий жест и деликатно заметил:

– Они раздавили их, ваше превосходительство.

Он подал Непенину смятую оправу, в одном углу, которой торчал кусок раздавленного стекла. Непенин в полном отчаянии опустился на кресло.

– Что же я теперь буду делать? – спросил он. – Я слеп, как крот.

– Ну, вот еще беда! – тотчас подхватил Ушаков. – Оправу можно починить, а стекла вставить. Я тебе и мастера укажу, есть у меня такой на корабле. А пока мы отпустим Степана домой и займемся книгами. Я тебе прочту названия.

Но когда бричка уехала, адмирал, вместо того чтоб читать названия, тронул Непенина за плечо:

– Знаешь что! С книгами можно после. В Петербурге произошло много событий, и весьма печальных. Давай лучше поговорим.

– А что? Что случилось? – тотчас же забеспокоился Непенин. – Как с моей книгой?

То, над чем он работал и что писал, было для него единственной любовью, жизнью, всем на свете.

Ушаков понимал, что неудача с книгой будет томить его друга, как болезнь. Однако всякая попытка смягчить правду могла только рассердить Непенина и прибавить к неизбежному

несчастью с книгой новое, ненужное огорчение. Еще в начале их знакомства Непенин решительно заявил, что только младенцам надо заедать сладостями горькие лекарства, а он, взрослый человек, в этом не нуждается. Ложь даже с наилучшими намерениями все-таки оставалась ложью. Ей не должно быть места в настоящих человеческих отношениях. Поэтому Непенин предложил Ушакову договориться раз навсегда, что никаких подходов и подслащивания в самых тяжелых обстоятельствах они оба допускать не будут.

«Конечно, если ты хоть сколько-нибудь дорожишь моей дружбой», – присовокупил тогда Непенин с обычной строптивостью. «Да не буду, не буду, даю тебе слово, – отвечал адмирал. – Я сам не охотник до сладкого».

Свято выполняя теперь данное обещание, Ушаков сказал:

– Твоя книга не получила разрешения. В свет она не выйдет.

Лицо Непенина потемнело, и скулы его обозначились резче.

– Это почему? – спросил он как будто спокойно.

– Я думаю, что виною всему – события во Франции.

– А с кем ты говорил?

– С Аргамаковым и с Новиковым.

Непенин на минуту задумался, пощипывая ухо костлявыми пальцами.

– Вы все просто не сумели ничего добиться у этих подьячих! – сказал он пронзительным и резким голосом. – Я сам поеду в Петербург.

Ушаков придвинулся к нему ближе.

– Полно, друг мой, – сказал он. – Это напрасно. Тут дело не в малых людях, поверь мне. Такова воля государыни. Государыня полагает, что якобинцы захватили власть во Франции и свергли своего монарха при помощи заговора, во главе которого стояли иллюминаты и другие масоны...

– И вовсе нет ничего общего у иллюминатов с масонами. Иллюминаты отвергают мир сверхчувственный и верят в разум. Орден этот образован для борьбы с мистикой. А масоны, как известно, проповедуют просветление свыше, изучают каббалу и шаманствуют не хуже дикарей.

– Все это, может быть, и так...

– Не может быть, а действительно так. И смешивать в одну кучу совсем различные понятия вряд ли достойно людей, почитающих себя просвещенными.

– Да что ты, Петр Андреич! Я же о масонах знаю очень мало, а об иллюминатах и вовсе ничего. Какое я имею право судить о них. Я же ничего дурного о них не говорю и ни в чем их не подозреваю. Николай Иванович – прекрасный человек; вероятно, и все друзья его – прекрасные люди. Но я хочу тебе объяснить то, чему был сам свидетелем.

Адмирал так ценил книгу своего друга, что неудача с ней отзывалась в душе его столь же болезненно, как если бы эта неудача постигла его самого. Только представить себе, что его лишили бы командования флотом и послали на житье в имение считать, как брат Иван, гривенники и браниться из-за шлеи. Да лучше умереть, погибнуть, исчезнуть без следа. Вероятно, то же чувствует сейчас и Непенин.

И Ушаков терпеливо продолжал свои объяснения. Он решил новым ударом ослабить первый.

– Ты выслушай меня, и тебе все станет ясно. Николай Иванович арестован и отвезен в Шлиссельбург.

– Вот как! – произнес Непенин и умолк. В теории он иногда предполагал такой исход для русского просвещения, но когда столкнулся с ним на практике, это было больно. Ушаков видел, как сразу осунулось лицо его друга и согнулась спина.

Ушаков привык к тому, что Петр Андреевич был подвержен неожиданным взрывам раздражения, и удивился той тишине, которая наступила.

– Государыня считает, – нерешительно пояснил Ушаков, – что все масоны – республиканцы и заговорщики противу монархической власти, желающие занести смуту и в наше отечество.

– Она может быть покойна! Не занесут, – отвечал Непенин. – У нас не только все крестьяне, но и весьма многие из помещиков неграмотны. Что при таких условиях можно занести?

Адмирала обмануло это спокойствие, и тот страстный, яростный взрыв, который за этим последовал, надолго остался в его памяти.

Маленькие, глубоко сидевшие глаза Непенина вдруг засверкали. Он вскочил с места и, наступая на Ушакова, закричал:

– Республиканцы? Нет у нас никаких республиканцев. Их можно по пальцам пересчитать, этих республиканцев. Емельян Пугачев, поднимая народ противу государыни, монархического принципа не отвергал, а шел на Москву под именем императора Петра Третьего. А тут скромный просветитель, издававший журналы и печатавший книги, Николай Иванович Новиков! Он и во сне-то не видал себя республиканцем. А его объявили заговорщиком. Он такой же заговорщик, как и ты! Как и ты! Понятно?

Адмирал тоже встал и дружески коснулся рукой острого плеча Непенина.

– Ну за что же ты на меня-то сердись? Я ведь ни в чем не виноват.

Непенин близко взглянул на него своими близорукими глазами. Это действительно случилось не раз, когда он вымещал на друге свой гнев и свое раздражение.

– Ты меня прости. Мне тяжело очень.

– Знаю, мой друг. Когда вот так разъяришься, как будто легче. Ты меня не жалея. Я выдержу, – сказал, улыбаясь, Ушаков.

Чтобы дать Непенину время собраться с мыслями, адмирал пошел к Локусте: передал ей подарки и велел разогреть ужин, который предусмотрительно привез с собой.

Когда он вернулся, Непенин сказал:

– Государыня не понимает ни причин событий во Франции, ни того, что происходит в ее империи.

Ушаков вспомнил старую рыхлую женщину и Зубова с его розовыми ногтями. Да, ум императрицы пошатнулся, в этом не было сомнения. И пора, чтоб на смену ей пришел новый, более молодой и более совершенный монарх. Многие считают таким цесаревича Павла. Но свидание с ним Ушакова было слишком кратким, чтоб составить понятие о его качествах.

– Видишь ли, – сказал Ушаков, – незадолго до несчастья с Николаем Ивановичем было получено известие, взволновавшее все умы, а особенно государыню. Шведский король Густав был убит заговорщиками, которых возглавил граф Горн.

Но Непенин, не слушая, продолжал свою мысль:

– Народ захватил власть во Франции, потому что старый режим прогнал до основания и угнетение народа достигло наивысшей степени при ненасытности управляющих и при полном презрении их к человечеству. Король нарушил договор свой с народом, и народ получил право его низвергнуть.

Ушаков не стал с ним спорить и хотел было опять напомнить об убийстве Густава III, но Непенин заговорил об этом сам. С ним часто так случалось, что он как будто пропускал мимо ушей то, что ему говорили, и возвращался к сказанному, когда собеседник порой уже забывал, о чем именно шел разговор.

– Все понятно, все понятно, – бормотал он. – Судьба Густава очень напоминает события, более близкие... с восшествием на престол... самой Екатерины... И потому лучше всего приписать заговор графа Горна якобинцам! Иначе он вызовет неприятные воспоминания! Императрица хорошо это понимает, она знает толк в заговорах. Это, вероятно, решило участь Николая Ивановича... А как твои дела?

Быстрый переход Непенина к другой теме обозначал требование покончить с разговором, который не мог быть приятен Ушакову.

Но адмирал спросил:

– А что ты думаешь о себе? Тебя это не коснется?

– Я не интересуюсь этим. Я живу не для своего благоденствия. Если мне нельзя будет печатать мои книги, жизнь теряет для меня цену. Я спрашиваю, как твои дела?

Ушаков подробно рассказал о пребывании в Петербурге и о своем столкновении с все-сильным временщиком.

Непенин одобрительно кивал головой. А когда речь зашла о том, как адмирал отказался от заманчивой для многих перспективы служить фавориту, он больно сжал костлявыми пальцами руку Ушакова.

– Прекрасно! Прекрасно! Этого я и ждал от тебя. Славы твоей и заслуги перед отечеством уже никто отнять не может, даже сам Господь Бог. Отказываться же от раболепства – значит блюсти себя от вечной скверны.

– Я дорожу твоим мнением, – сказал адмирал и по привычке стал размышлять вслух, не замечая, как сумерки уже заглянули в окна. – Я думаю о том, как удачно молва называет таких, как Ментиков, Бирон, Потемкин, Зубов, людьми случая. Не таланты и не способности проложили им путь к сердцам государей, хотя некоторые из них, как Потемкин и Меншиков, от природы таланты имели. Самый путь их был темен. Но ведь не только они, а и все мы подчинены случаю. Я вот не приглянулся фавориту, и судьба моя мне неизвестна. Кто-то выстрелил в спину шведскому королю, и достойные люди теряются для своего отечества. Случай лишает смысла жизнь каждого человека. В чем же тут дело?

– В том, что случайность – это свойство самодержавства, – серьезно ответил Непенин. – Там, где все решается волей одного человека, там случай приобретает необычайную силу и над разумом и над общей необходимостью. Но случай есть случай, и когда приходит пора испытаний, законы разума все ставят на место. Случайные люди не могут совершать дел, предназначенных для способнейших. И государи бывают вынуждены, иногда даже скрежеща зубами, призывать людей настоящих. Зубовых не посылают в сражение, потому что у них нет для этого способностей. А ты по себе знаешь, что, когда Потемкину до зарезу нужны были моряки, он нашел капитана Ушакова. Тебя могут временно отстранить, но когда придет опасность, тебя призовут обратно. И это будет уже не случайность, а закономерность.

И Непенин рассмеялся своим отрывистым, пронзительным смехом.

– У нас остается одно, – сказал он, – это – не иметь ничего общего с миром высоких персон и твердо идти своей дорогой, какие бы ямы и трясины ни угрожали поглотить нас.

## 14

Адмирал любил самый быстрый ход. Садясь утром в гичку, он заранее предвкушал удовольствие пролететь единым духом от Графской пристани до киленбанки. Это была слабость, которую он разрешал себе. Он знал всех лихих гребцов на эскадре и лучших из них брал на свою гичку.

Он спросил ждавшего его в гичке Доможирова:

– А где Бойченко? Почему его сменили? Бойченко был его любимый гребец.

Оказалось, что Бойченко перешиб ключицу, сорвавшись с реи. Следовало выяснить, почему это случилось: сам он проявил излишнюю лихость или командир увлекся спешкой.

Доможиров, встрепанный и небритый, чесал колючий подбородок. В присутствии гребцов он только хмурился и дожевывал что-то, чего не успел доесть дома. Он презирал Куликова за его бриллианты и галуны и открыто называл бабой.

Он даже высказал мнение, что флот ожидает непременно гибель, пока из него не уберут всех подхалимов и левреток. Левретками он окрестил иностранцев.

Доможиров был убежденный холостяк. Хозяйства дома никакого не имел, ел всухомятку и похода. В кармане его кафтана всегда имелись какие-нибудь припасы в виде зачерствелой лепешки или куска брынзы.

– Эдакой лепешкой человека убить можно, – заметил адмирал, слыша такое хрустенье, словно Доможиров жевал камни.

– Да булочник – болван, всегда подсунет, – отвечал Доможиров, искренне считавший большинство людей болванами.

Он был изобретателем и регулярно осаждал Ушакова, Мордвинова и даже Петербургское адмиралтейство самыми неожиданными проектами. А так как редкие из них получали возможность осуществления, то Доможиров уже заранее предполагал врага в каждом, с кем приходилось сталкиваться. К Ушакову он чувствовал некоторое доброжелательство за то, что тот дал ему возможность провести несколько опытов по борьбе с древоточцами. Древоточцы были истинным бичом для деревянных судов, и опыты Доможирова живо интересовали адмирала.

Гичка приближалась к небольшому заливу, где обычно производилось килевание судов. На поверхности воды виднелось что-то похожее на убитого кита. Это и был полузатонувший фрегат. Скоро показались стрелы для подъема тяжестей и пристань. Фрегат лежал, накрываясь левым затонувшим бортом. С противоположной стороны стояли на якорях три плоскодонных лихтера. С палубы каждого из них были выдвинуты бревна. Они упирались в борт фрегата и предназначались для того, чтоб при попытке поставить фрегат прямо он не лег бы на правый борт.

Едва адмирал услышал знакомый хлюпающий плеск, крики работавших людей и повизгиванье ворот, как обычное чувство возбуждения и наслаждения деятельностью уже начало пробуждаться в нем. Люди узнали его гичку, узнали его самого, и шум приветствовавших голосов пронесся над водой. Адмирал возвращался к тем, кого сам избрал в качестве главных спутников жизни, и люди радовались его появлению.

Адмирал прошел на гичке близ фрегата и трех лихтеров, стоявших на якорях. В это время к правому борту фрегата укрепляли найтовыми два бревна. Среди работающих Ушаков тотчас узнал плотника Финогена, напряженная согнутая спина которого была прикрыта промокшей рубахой.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.